ЕГОР ЯКОВЛЕВ

ЧУРИКИ СГОРЕЛИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Художественно-публицистическая книга о принципах советской педагогики. Автор размышляет об основах коммунистической морали, о неразрывной связи поколений, пишет о том, на каких конкретных исторических примерах должны воспитываться советские дети…

Для старшего возраста.

-
- ВОСПОМИНАНИЯ ПЕТРУШКИ
- НЕ ПРОЗЕВАЙ НАЧАЛО
  - КТО ПРИДУМАЛ НАЗВАНИЕ
  - Я ХОЧУ. А ВОВКА НЕ ХОЧЕТ
  - ЖИЗНЬ КОРОТКАЯ ИЛИ ДЛИННАЯ?
  - СБЕРЕГИТЕ МАЛЬЧИШКУ
- ЛЕГКО ИЛИ ТРУДНО БЫТЬ СВЯТЫМ?
  -
  - ОТКУДА БЕРЕТСЯ «НАДО»
  - ОХ УЖ ЭТИ НЕОЖИДАННОСТИ!
  - ЗАБОТА О СЕБЕ
  - НЕ ОТРИЦАТЬ, НЕ ПРЕДЛАГАЯ
- «КОММУНА НОМЕР РАЗ!»
  - НЕ ИЩИ ОПРАВДАНИЙ
  - «ДЕРЖАТЬ ДУШУ ЗА КРЫЛЬЯ»
  - ПОГОВОРИМ О ДОБРОТЕ
  - ПОЗНАЙ СВОЕ ВРЕМЯ
  - ГИМН ПОЧЕМУЧКЕ
  - А ТЕПЕРЬ О ТОМ, ЧТО НЕТЛЕННО
  - ЧУВСТВО ХОЗЯИНА
- ПРОГУЛКА В МИНУВШЕЕ
  -

- СИНИЕ ГАЛСТУКИ
- КАКИМИ ОНИ БЫЛИ
- МИША СТРЕМЯКОВ
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
- ВЗГЛЯД ИЗ «ЛИРЫ»
- «КТО, КАК СОНЯ, ДРЕМЛЕТ…»
- БЫТЬ ПЕРВЫМ
- СТОЙ, СТРЕЛЯТЬ БУДУ!

- Информация об издании
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

ЕГОР ЯКОВЛЕВ

ЧУРИКИ СГОРЕЛИ

Издательство
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1970

ВОСПОМИНАНИЯ ПЕТРУШКИ

Нине Владимировне Снегиревой

Я не помню, когда увидел ее впервые, не скажу, когда мы виделись в последний раз. Осенним днем, вернувшись из командировки, я нашел в почтовом ящике записку:

«Привет!

Вспомни! Год 1949, школу 529 и наши выступления по деревням.

Цель записки. Умерла Нина Владимировна Снегирева — наш школьный заводила. Нужно написать о Нине Владимировне. Я до 26 августа буду в Москве. Если можешь, зайди в школу, чтобы обсудить это дело.

Капитан 3-го ранга Прокофьев Владимир Ильич.

P. S. Растем помаленьку».

Так вот случается, что, давно простившись со школой, ты вдруг получаешь школьное поручение. Мне не пришлось проститься с Ниной Владимировной. Мне осталось лишь написать о ней.

…Светлым вечером после концерта мы возвращались из Домодедова в Москву. Нина Владимировна, как всегда, была с нами. Она молча сидела на скамейке электрички, чуть повернувшись к окну.

Той весной мы заканчивали школу, и нас связывали с ней лишь экзамены на аттестат зрелости. Мы похвалялись друг перед другом звонкими названиями институтов и военных училищ, мы спорили о будущем, а в прошлом оставались школа, с ней и Нина Владимировна. У нас появились свои дела, дела выпускников, и в тот вечер мы не так, как прежде, прислушивались к тому, что скажет Нина Владимировна. И она замолчала.

Время роста, сама его здоровая суть, неизбежно эгоистично. Человек растет, человек приобретает. Он делает это поспешно, порой не успевая задуматься, все ли обязаны ему отдавать. Представления об окружающем мире так же непоколебимы, как и элементарны. У жизни пока лишь одно измерение — в длину. День прошел, и здóрово, поскорей бы завтра, оно приблизит послезавтра и еще многие послепослезавтра, когда ты обретешь наконец самостоятельность и независимость взрослого человека. Сменяются впечатления, увлечения, люди, как мелькают перед бегуном лица зрителей на трибунах. И лишь с годами неожиданно обнаруживаешь, что человек, с которым расстался у

далекой жизненной отметки, как и прежде, идет с тобой, остался в тебе.

По должности Нина Владимировна была старшей пионервожатой. Сколько лет ее знал, столько лет она носила пионерский галстук, лишь в последние годы стеснялась появляться на улице в красном галстуке. Чаще всего Нина Владимировна была в школе. В своей комнате на втором этаже. Большой, угловой, со многими окнами и потому холодной комнате.

Хаос там царил невероятный. Плакаты, стенды, горн без мундштука, прорванные барабаны, свернутые папирусы стенных газет, декорации к каким-то забытым спектаклям, залитые чернилами вазы из папье-маше, лоскуты кумача и бог знает что еще — все это было свалено и все было в движении, как зыбучие пески, так и не находя своего постоянного места. Здесь уже ничего нельзя было сломать, испачкать, опрокинуть. И каждый мог рыться сколько угодно и был вправе найти то, что ему именно сейчас позарез необходимо. Всех устраивал этот ставший порядком беспорядок. Даже нянечку: раз и навсегда махнув рукой, она обходила пионерскую комнату.

Таким же был и стол Нины Владимировны. Обрезки цветной бумаги соседствовали здесь с разломанным куском черного хлеба — ее завтрак или обед, а иногда и то и другое вместе. От холода у Нины Владимировны подпухали суставы пальцев, руки всегда были красными. Она дыханием отогревала ладони и снова принималась за работу. Разыскивала неизвестно куда подевавшиеся ножницы: хлопала по столу, пока они не звякнут где-нибудь под бумагой.

Нина Владимировна все теряла. Едва получив зарплату, обнаруживала ее пропажу. Свернутые в несколько раз, словно затем, чтобы их легче было потерять, десятки и пятерки мы находили в самых невероятных местах. Теряла хлебные карточки. Решила поступить в учительский институт и потеряла экзаменационный лист, пришлось снова сдавать экзамены. То, что она не успевала потерять, отдавала другим.

Жила Нина Владимировна в общежитии. Какие-то ее вещи лежали там, другие — в школе. У кого-то она была в гостях и забыла пуховый платок, вот уже год не может собраться сходить за ним. У нее было одно коричневое платье и одно синее пальто, на зиму к нему пристегивался черный цигейковый воротник.

Когда я встречаю тех, чьи заботы и помыслы скрестились на них самих, я вспоминаю Нину Владимировну. Но я никогда не рассказываю о ней энтузиастам устройства собственной жизни. Нина Владимировна не пример и не аргумент в споре. Ниной

Владимировной нельзя стать. Ею можно быть.

Чаще всего мы знаем имена одаренных людей, чей талант выражен определенно — знаменитый архитектор, физик, писатель. Направленность таланта открыла им путь к вершинам профессии, обеспечила достойное место среди коллег. А если человек просто талантлив, талантлив в жизни? Судьба таких людей менее известна: они не участвуют в конкурсе на лучший проект, не едут на симпозиум физиков или на встречу писателей. Они талантливы в жизни, и разнообразная одаренность их поглощается тем кругом, в котором они живут, работают. Здесь они известны, здесь их признание.

Создала ли что-нибудь Нина Владимировна? Она все время собиралась написать книгу о пионерах, да так и не собралась. Нина Владимировна хорошо рисовала, играла на рояле, великолепно рассказывала, писала стихи. Кто знает, как могла сложиться ее судьба. Пойди на сцену, быть может, заслужила бы признание. В нашем любительском спектакле Нина Владимировна играла роль мадам Обломок. Она краснела от аплодисментов, которые выпадали на ее долю… Всю ночь, вместе с нами, украшала Нина Владимировна школу в канун новогоднего бала. Это она придумала красиво убрать зал и любовалась им так, словно это был ее вернисаж.

Я не раз встречал людей, чья жизнь стала ожиданием, вечной истомой несвершившегося. Они все хотят сделать что-то такое, этакое и непременно за пределами того, чем были заняты вчера, сегодня и будут завтра. Им тоже не стоит рассказывать о Нине Владимировне.

Во время войны Нина Владимировна собрала нас в оркестр. Оркестр шумовых инструментов. Я и по сей день храню наивную уверенность, что любой предмет, из которого можно выколотить хоть какой-нибудь звук, достоин быть инструментом в таком оркестре. Мы выступали в госпиталях. Наш оркестр имел успех, нас подолгу не отпускали со сцены, а потом приглашали в палаты к раненым, которые не могли ходить. К концу вечера мы испытывали усталость, сладостную усталость успеха. Мы стеснялись брать сахар и печенье, которыми одаривали нас солдаты. А они уговаривали.

Поздним вечером по заледеневшей улице возвращались мы домой. С нами шла девушка из госпиталя. Высокая и красивая. Очень красивая. Мне не вспомнить теперь ее лица, но осталось чувство, что она была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел. Было холодно и ветрено, а двигались мы очень медленно. Девушка шла на костылях. Вернее, она только училась ходить на костылях. Недавно ей ампутировали ногу. На фронте

девушка, кажется, была летчицей: она пошутила, что снова пошла «в пике» — сбежала на ночь из госпиталя домой. Больше она не вспоминала о войне. Девушка шутила с нами, подсмеивалась над своей неловкостью. Рядом с ней шла мать. Она старалась поддержать дочь и боялась помешать ей переставлять костыли. Во всем этом была война, такая реальная и близкая, какую нам, мальчишкам, пришлось испытать лишь единожды.

Утром в школе мы рассказывали Нине Владимировне о госпитале, о девушке. Нина Владимировна улыбнулась: «Я же с вами шла, вы только обо мне забыли».

Мы часто забывали о Нине Владимировне. Поглощали впечатления, а кто одаривал нас этими впечатлениями, было неважно. И все, что придумывала Нина Владимировна, нам казалось, мы выдумываем сами. Она уговорила нас открыть комсомольский клуб, а через несколько дней мы уже горячились, нападали на нее и доказывали, что у каждого клуба должен быть свой устав. И спектакли, казалось, ставим сами, только сами, а Нина Владимировна здесь ни при чем. И в лагерь на каникулы сами решили и поехали. Всё сами.

Нина Владимировна ни в чем не выделяла себя. Я не помню, чтобы она читала нам нотации, пробирала, не скажу, что и хвалила. Она обижалась на нас, как могли мы обижаться друг на друга, и радовалась точно так же, как мы. Она, возможно, не знала слова «не смей», а, скорее всего, понимала, что в приказе-запрещении, отданном сверху вниз, еще неизвестно, о ком больше заботы: о том, кому запрещают, или о покое того, кто запрещает. Нина Владимировна никогда и ничего не запрещала. С чем-то была согласна, а что-то не одобряла. В старших классах мы стали покуривать. Нине Владимировне это не нравилось. Но мы не прятались от нее с папиросой на чердак и не лезли в котельную. Не было поводов что-то скрывать от нее, обманывать. Мы доверяли ей секреты и знакомили с нашими девушками; она бывала на наших вечеринках. Всегда и во всем у нее было такое же право голоса, как и у каждого из нас.

Вот и людям, которые слышат лишь себя, и гордятся собою, и уважают только себя, а в успехе другого непременно видят свой ущерб, я не рассказываю о Нине Владимировне.

Я не рассказываю о Нине Владимировне одним, другим, третьим. Для кого же я теперь пишу о ней? Я пишу для людей естественных, кто предан жизни, а не самим себе, и в жизни находит вдохновение.

…В ту весну мы прощались со школой, и той весной Нине Владимировне исполнилось тридцать пять. Мы поехали на концерт, чтобы заработать денег. И, возвращаясь с концерта,

прикидывали, где будем выступать в следующий раз.

Повернувшись от окна, Нина Владимировна сказала:

— А не хватит ли, ребята?

— Нет, не хватит, — сказали мы, — клубу нужны деньги.

На этот раз мы сказали неправду. Нам нужно было отпраздновать день рождения Нины Владимировны. Предстоящее торжество сохранялось от юбиляра в строгом секрете. И в то же время я не знаю другого юбилея, который бы готовился так тщательно и заблаговременно.

Выбрали золотые часы и никак не могли договориться, какую надпись на них сделать. Купили палехскую шкатулку с медведями на крышке и конфетами «Мишки» внутри. Мы чествовали Нину Владимировну целый день. Утром выпустили посвященный ей номер газеты, а вечером дали концерт в ее честь. И Нина Владимировна была счастлива, а еще больше смущена.

Мы кончили школу и продолжали видеться с ней. Когда-то на детском утреннике, который устроила Нина Владимировна, я изображал Петрушку. С тех пор всякий раз, как подходили зимние каникулы, мне приходилось надевать шутовской колпак, облачаться в двухцветный костюм из марли. Я учился в институте, а Нина Владимировна по-прежнему звонила под Новый год и просила сыграть Петрушку. У нее уже было много новых друзей, но она не хотела расставаться и со мной. Я работал в райкоме комсомола, в газете; у меня у самого рос сын. А под Новый, год раздавался телефонный звонок и чуть запинающийся голос:

— Ты меня прости, пожалуйста. Я все понимаю. Но ты сам знаешь: надо сыграть Петрушку.

Звонила долго. Много лет. Пока не заболела.

НЕ ПРОЗЕВАЙ

НАЧАЛО

КТО ПРИДУМАЛ НАЗВАНИЕ

Зимним вечером мы собрались у райкома комсомола. Ждали члена комитета школы, десятиклассника. Он должен был докладывать о нас на бюро райкома. Нам было по четырнадцать, и мы вступали в комсомол.

Дернуло же меня, пока мы его дожидались, взять да закурить. Не то чтобы я курил тогда по-настоящему, а просто пофорсить захотелось. Так и застал меня член комитета с зажатой в ладони папиросой. Стоит он передо мной, невысокий, аккуратный, в короткой зимней куртке с черным котиковым воротником. Могу слово в слово повторить, что сказал он тогда:

— Напрасно ты у райкома куришь. Пройдет кто-нибудь из членов бюро, заметят — и тебя в комсомол не примут, и школу подведешь.

Помню, что к тому десятикласснику мы относились с почтением; он казался совсем взрослым, самостоятельным. Но с того вечера он перестал существовать для меня как авторитет. Почему? Я понял это позже. Не отругал, не возмутился, из-за того что застал с папиросой, а рассудительно сослался на членов бюро. Я-то тебя не выдам, а вот как бы они не заметили. Кури себе на здоровье, лишь бы они не знали, только бы школу не подвел. У райкома не кури. А в подворотне можно?

Было это ни много ни мало четверть века назад. А как запомнилось… И сегодня встречаю тех, чье возмущение вызывает не сам поступок, а лишь то, что стало о нем широко известно; они-то добренькие, рады были бы тебя понять, да вот обстоятельства не позволяют. Я отношусь к ним так же, как к тому злополучному десятикласснику. Отблеск детства?

Миновала пора детства, унеслась безвозвратно… В этой фразе больше красоты, чем смысла. Детство кончается, но не уходит. Оно всегда с тобой. К случаю, а когда и некстати, напоминает о себе.

Меня преследует один и тот же сон. Снится ночная военная Москва, снится то, что когда-то было на самом деле.

Мы забрались на крышу десятиэтажного дома. Все тогда лазили смотреть салюты. А в тот вечер предстоял не один салют и не два, а целых три. Так бывало лишь в конце войны, когда наши войска освобождали по нескольку городов в день. Долго просидели мы на крыше, задрав головы, а когда захотели спуститься, дверь чердака оказалась на запоре. Массивная, обитая железом дверь. Кто-то закрыл ее изнутри. Путь на землю оставался один: через чердак соседнего корпуса; но чтобы попасть

к нему, надо было пройти по карнизу, длинному и узкому, ничем не защищенному.

И мы пошли. Не ночевать же на крыше. Мы поклялись друг другу не смотреть вниз — закружится голова. И смотрели вниз. Все обошлось благополучно, каждый спал в своей кровати. Только снится мне с тех пор бездонный колодец заледеневшей улицы, синие фонари затемнения, тянущая к себе пустота.

И страшно бывает не только во сне. Такого страха, видно, тогда натерпелся, что и сейчас, попав в горы, я против воли отступаю от края обрыва. Боюсь высоты…

А чаще всего о былом мне напоминает сын. Мое детство переживает в нем второе рождение. Невзначай, одним лишь словом, жестом, считалкой-приговоркой Вовка одаривает меня детством. Так же невзначай он подарил мне название этой книжки.

Бежали мы как-то с ним в кино, а по дороге играли в салочки. Вовка осалил меня. Я бы вот-вот догнал его, но он закричал:

— Чур, меня!

У Вовки развязался ботинок. Он справился со шнурком и отскочил в сторону.

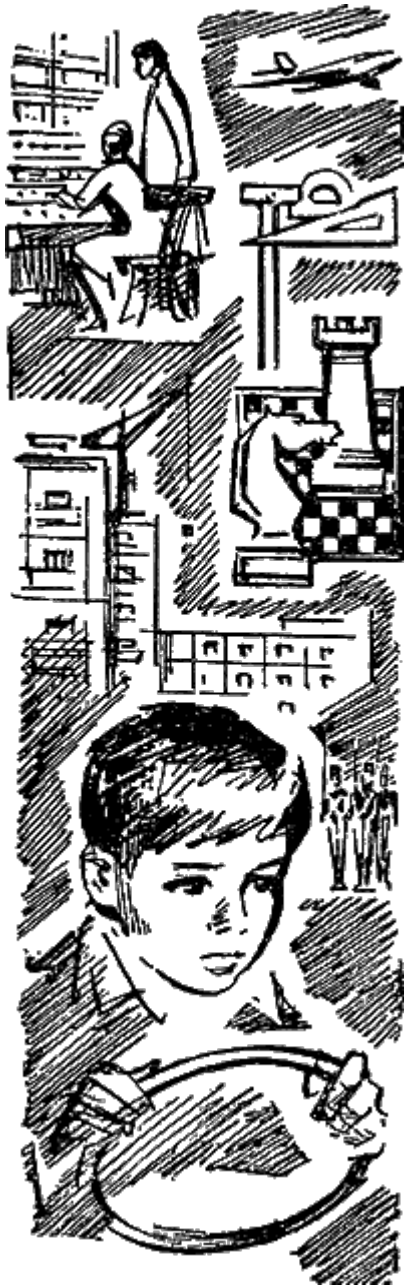
— Чурики сгорели, на небо улетели!

— Как ты сказал? — не понял я.

— Чурики сгорели… Значит, чур отменяется. Догоняй!

Сын понесся дальше. А ко мне вернулось забытое; совсем рядом я почувствовал теплые, нагретые солнцем, растрескавшиеся бревна с клочками колючей пакли в пазах, увидел себя, как прячусь за углом деревянного дома, услышал приговорку: «Пора не пора, иду со двора».

А чурики сгорели… Может быть, не только в играх, но и в самой жизни наступает такое время, о котором можно сказать: чурики сгорели, на небо улетели? Чурики сгорели, а с ними детские годы, когда для того, чтобы выйти из игры, достаточно было одного слова. Но перед тем как пойти в кино, Вовка сидел над уроками. И он не мог сказать: чур, не я буду решать задачу, какой из пешеходов передвигается быстрее. Школа — это уже обязанность; очевидно, вольница была прежде, пока Вовку не отправили в первый класс. Прежде? Надо было вставать затемно и холодным зимним утром отправляться в детский сад. Я должен был отводить сына, и вставать мне ужасно не хотелось. А Вовке? Наверное, так же, как и мне, но он не мог отказаться: чур, не я пойду. А еще раньше? Тоже хватало забот. Легко ли было справиться с «р-р-р», произносить его так р-р-раскатисто, будто палкой по забору провел; некоторые всю жизнь стараются, но у них так и не выходит…



Все подводило меня к выводу, что в жизни вообще нет такого времени, когда ты можешь сказать: чур, не я, чур, я маленький.

А вообще чего мне дались эти чурики! Есть у людей такая манера — привяжутся к одному слову и рассуждают вокруг него и поворачивают его то туда, то сюда. Присказка как присказка, для детских игр придумана, к ним только и подходит. Если игры — значит, детские. Так ли? Кто больше любит играть: взрослые или дети? Смешной вопрос, скажете? Но я-то сейчас гонялся за

Вовкой. Вот он кричит издалека, да еще дразнится: «Сначала отводи — потом уходи».

«Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар…» Играют взрослые и дети… «Шла машина темным лесом за каким-то интересом, инти-инти-интерес, выходи на букву „с“». И те и другие обижаются, когда их не принимают в игру, и те и другие не любят проигрывать. Всё одинаково? Не совсем. Расспросите педагогов, и все получится шиворот-навыворот. Педагоги давно подметили, что дети играют не так уж и охотно. Они, конечно, играют, когда нечем больше заняться. Помните? «Дело было вечером, делать было нечего…» Взрослые, те заняты деятельностью, причем какая бы она ни была, все равно принято называть серьезной. А мальчишки чаще всего составляют стулья и воображают, будто это поезд; вытянув указательный палец и подняв кверху большой, делают вид, что стреляют из пистолета; прыгают на палке и фантазируют, что скачут на лошади… Если бы Вовка мог выбирать между живым щенком и плюшевой собачкой, он бы и раздумывать не стал.

Значит? Значит, в каждом мальчишке живет взрослый. А в каждом взрослом? Естественно, мальчишка. Разобраться во всем этом мне показалось интересным.

Я ХОЧУ. А ВОВКА НЕ ХОЧЕТ

Вовка ужасно любопытен. Всюду сует свой нос и очень любит поговорить. Ушки у него всегда на макушке. Стоит мне взять трубку телефона, он тут как тут:

— Папа, кто тебе звонит?

Было время, мне часто звонили из издательства «Молодая гвардия». Вовка всякий раз спрашивал, и я всякий раз отвечал:

— Из «Молодой гвардии».

Как-то сын остался дома один и сам управлялся с телефоном.

Я вернулся, он сказал:

— Тебе звонили.

— Ты спросил, кто?

— Спросил!.. Тебе звонили оттуда, где был Олег Кошевой…

Вовке десятый год. Он мальчишка. Сероглазый, розовощекий, упрямый и немыслимо грязный, когда возвращается домой. Если он не носится как угорелый, значит, хворает. Но едва спадет температура, прыгает по кровати, норовит лечь ногами на подушку, а еще завалится в щель между стеной и кроватью и вопит. Войдешь в комнату — замрет, лежит не дышит. Он и задохнуться так может, если не спросишь, притворяясь испуганным:

— Куда же делся Вовка? Уж не на улицу ли сбежал?

Те, кто приходят к нам домой первый раз, говорят обычно: «Милый мальчик». Новых знакомых Вовка стесняется. Те, кто не впервой, да еще вздумают повозиться с ним, уже ничего не говорят. Я тоже ничего не говорю, потому что лучше всех знаю, каков этот мальчик. Меня-то его улыбочки не собьют с толку, я на себе испытал, сколько неожиданностей таят они для окружающих. Чуть зазевался, тут Вовка тебя и надул.

У сына стали пропадать тетради. Ну просто напасть какая-то! Исчезают, и все тут. Это Вовка мне так объяснял. А на самом деле всякий раз, как поставит учительница в Вовкину тетрадь жирную двойку, а случалось, и еще более жирную единицу, он старался избавиться от этого малоприятного свидетельства его прилежания. Правда, тетрадки преследовали Вовку, как прославленного футболиста Пеку его бутсы[1]. Тетрадки, прямо как назло, обнаруживались то в парте, то в коридоре, то в раздевалке, а то и на дворе. Заботливые однокашники, преисполненные чувства долга, торопились вернуть их владельцу. Они радостно приносили свои находки когда учительнице, а когда и Вовке домой…

Признаюсь, в свое время я умел увернуться от уроков и был

по этой части изрядным докой, но и меня Вовка порой загоняет в угол. Сидит, например, в парикмахерской и канючит:

— Можно, меня поодеколонят? Ну пожалуйста, я очень прошу, пускай поодеколонят.

На обратном пути все время пристает:

— От головы пахнет? Очень?

— Ужасно.

— А от рубашки тоже пахнет?

— Невыносимо.

— Вот и учительница говорит, что не выносит запах одеколона. Теперь она меня к доске вызывать не будет.

Справедливости ради, чтобы не создалось обманчивого представления, должен уточнить: Вовка не разбойник и даже не малолетний преступник. Он парень как парень. О нем можно сказать словами, которые произносит обычно доктор, вынимая из ушей трубочки стетоскопа: «Здоровый мальчик». И сколько бы родители ни перечисляли его недуги, доктор стоит на своем: «Нормальный ребенок». Сам же Вовка на вопрос о самочувствии обычно отвечает: «Аппаратура работает нормально».

Он обижается, когда его не пускают на фильмы для взрослых; он говорит о себе: «Раньше, когда я был маленьким…», но хоть убей, не пропустит по телевидению передачу «Спокойной ночи, малыши». Кажется, он весь перед тобою, всеми нитями с тобою связан, и вдруг с разбегу налетаешь на стенку.

Когда-то я читал любопытную историю. Герой рассказа едет на машине. Пустынное шоссе, не видно никакой преграды, казалось бы, не на что натолкнуться. Но машина все-таки наталкивается на что-то. Это что-то, тягучее и упругое, как резина, сдерживает движение. Машина останавливается, а затем пятится, словно и впрямь уткнулась в резиновую ленту. Подходят другие машины, и с ними, на той же невидимой черте, происходит то же самое. Герой рассказа хочет обойти преграду полем. Но конца ей нет. Он так и идет, упираясь в нее плечом. Потом мы узнаем, что невидимую стену воздвигли существа из мира иных измерений, из антимира.

История эта была с начала до конца фантастической, но и в моих, совершенно реальных, отношениях с Вовкой происходит порой нечто похожее. Между нами тоже появляется непроходимая преграда, я топчусь по одну сторону, а Вовка прыгает по другую. И куда ни шло, если бы такое происходило на изломе событий исключительных, особой важности. Нет. Повод может быть самый незначительный, на мой взгляд, пустяк.

Вхожу на кухню. Вовка стоит за дверью, надев ведро на голову, и рычит. Ну и пускай себе рычит, пока не надоест. Я

делаю вид, что ничего не происходит, и обращаюсь к ведру:

— Какие у тебя сегодня отметки?

Сын освобождает голову от ведра и скучным голосом отвечает:

— Пятерка, четверка, а еще двойка…

Двойку он получил на уроке по труду: штопку захватил из дому, а дырку забыл. Дырку тоже надо было принести, потому что иначе нечего будет штопать.

Можно было бы, конечно, подивиться на ведро, да еще пару раз звонко щелкнуть по нему, а потом уж перейти к опросу по вопросу успеваемости. Но я тоже существо одушевленное, мне некогда, я занят, кто-то испортил мне настроение. И Вовка сразу же нырнул в себя, появилась стенка. Лишь задним числом меня осеняет, что сын всего-навсего хотел вспомнить то время, когда мы объявляли «день помощи домашним» и набрасывались на уборку квартиры, а потом, когда надоедало быть хорошими, провозглашали «день пугания домашних».

Осечка случается всякий раз, когда я не замечаю, а еще того хуже, пытаюсь ворваться в его «я». И сразу же мир отца и мир сына становятся антимирами! Какого роста его «я» и сколько оно весит, не скажешь, но оно ни в чем не уступает моему, это уж точно.

За собой я признаю право, когда мне хочется, становиться мальчишкой. А от сына непременно хочу, чтобы он был таким же, каким я бываю все остальное время, — взрослым. Чтобы он сидел за столом так же и не иначе, как сижу я. Чтобы он разговаривал с гостями так же чинно, как беседую я. Чтобы он бросал игру по первому зову, хотя сам всякий раз бранюсь, если отвлекают меня от дела (вслух или про себя — в зависимости от обстоятельств). Я хочу. А Вовка не хочет. А я все равно хочу. И когда отец бывает с ним несправедлив или груб, он может очень строго взглянуть своими серыми глазами и сказать через вздох: «Эх, папа, папа!..» И мне становится худо, потому что я, как было отмечено выше, тоже существо одушевленное…

Я уже успел немало кое о чем рассказать, и все складывается к тому, что книжка эта будет про воспитание сына. Но я вовсе не собираюсь разрабатывать на собственном сыне новую воспитательную доктрину. Я просто хочу, чтобы Вовка понял меня, понял, что я от него хочу. И Вовка хочет, чтобы я его понял. И, добиваясь этого, тоже меня воспитывает. Значит, и он мог бы написать книжку… о воспитании отца. Первый абзац такого труда выглядел бы примерно так:

«„Эх, папа, папа…“ — говорю я всякий раз, когда отец бывает не прав. И это на него действует. Соразмерное использование

этого педагогического приема, несомненно, открывает широкую перспективу в правильном и систематическом воспитании родителей…»

Я должен уважать у сына чувство собственного достоинства, считаться с его «я». Мне не всегда это удается. А не оттого ли, что не научился раньше прислушиваться к мнению не только старших, но и тех, кто был младше? Смотреть на первоклашек сверху вниз мы все умеем, и больше всего те, кто учится во втором. Невелика радость, если тебе родители каждую минуту твердят, знаете, по тому принципу — капля камень точит: разве мы так учились, разве мы так относились к своим обязанностям? А сам ты, когда задираешь нос перед младшими, не хочешь ли этим показать: я-то был не таким.

Между прочим, однажды на родительском собрании я, кряхтя, забрался за Вовкину парту, упираясь коленями в перекладину, а животом в доску. И, сидя за партой, из которой давно вырос, многое понял. Понял потому, что вспомнил себя.

Мне хотелось поговорить в этой книжке о взаимопонимании. А если о взаимопонимании, то о старших и о младших, про ребят и про взрослых. Да, пожалуй, я расскажу кое-что о взрослых. Народ они, доложу я вам, прелюбопытный, и вполне заслуживают того, чтобы постараться их понять.

Сто́ящий солдат, как всем известно, носит в ранце жезл фельдмаршала. Но еще до того, как появились солдаты, а следовательно, и жезлы и сами фельдмаршалы, все мальчишки уже торопились стать взрослыми. Ужасно хочется мальчишке поскорее перестать быть мальчишкой: сперва надеть длинные брюки, потом заговорить баском, а уж отпустить усы — предел мечтаний… Вот когда я стану взрослым… Растите себе на здоровье, только не думайте, что быть взрослым — одно сплошное удовольствие. В детстве усы наводишь сажей, а когда вырастешь, оказывается, что и настоящие усы вовсе тебе не нужны.

Конечно, может показаться, что взрослым все нипочем, они совершенно самостоятельны и могут делать все, что заблагорассудится. Им не нужно выклянчивать разрешения пойти в кино или решать примеры с дробями, если, понятно, они научились этому раньше. И все равно, по сравнению с вами взрослые оказываются в положении ничуть не выгодном. Им все время твердят: ребенка надо понимать. А взрослых понимать не надо? Только никто об этом не вспоминает. Вы, наверное, слышали такую радиопередачу: «Взрослым о детях». А «Детям о взрослых» — такой передачи нет.

Хвалят тебя редко, а упрекнуть всякий горазд. Строг ты с

сыном, пробрал его, не разрешил что-то, и вот тебе пожалуйста — упрек: так можно поработить волю ребенка, сломать в нем самостоятельное начало. Берешь себя в руки, стараешься не замечать, как поливает сын чернилами из водяного пистолета. И опять нехорош: сын еще под стол пешком ходит, а уже отцом помыкает…

Недавно ночью меня разбудил телефонный звонок.

— Ты спишь? — услышал я голос приятеля.

— Уже нет, — грустно ответил я.

— И я тоже, — сказал приятель, занятый, очевидно, своими мыслями. — Завтра утром я должен дать ответ своей дочери…

Сказано это было таким трагическим тоном, как будто завтра поутру у него должна была разорваться под подушкой небольшая водородная бомба. Тревога приятеля была мне непонятна. Дочка его, Наташка, учится во втором классе, поведения примерного и замуж, казалось бы, пока не собирается.

— Произошло непоправимое, — объяснял мне между тем приятель. — Учительница писала на доске решение задачи. Она предупредила ребят: никто не забегает вперед, все записывают решение с доски. Наташенькин сосед по парте, между прочим весьма смышленый мальчик, забылся и сам решил задачу. Учительница рассердилась и разорвала его тетрадку.

— Разорвала тетрадку?

— Представь себе! Наташенька вчера весь день возмущалась.

— Учительницей?

— Да нет, мальчиком — какой он недисциплинированный. Я намекнул ей, что в этой истории не все так просто, и обещал утром объяснить. Теперь не могу спать.

— Так скажи Наташке, что учительница погорячилась, была не права.

— Ты с ума сошел! Это поставит под сомнение авторитет учительницы, а Наташенька ей бесконечно верит. Я рассказывал жене о неприятностях на работе — Наташенька услышала и говорит: «Папа, не волнуйся. Я посоветуюсь с учительницей, и она скажет, как тебе поступить».

— Понятно. Тогда объясни, что мальчуган не прав.

— Как можно? Он не совершил ничего предосудительного!..

— Тогда…

Мы перебирали всевозможные варианты до рассвета, пока я не задремал с телефонной трубкой под ухом.

Утром я позвонил приятелю:

— Ну как?

— Никак!

— Что — никак?

— Я проспал.

— Ты правду говоришь, что проспал?

— За кого ты меня принимаешь? Я лежал с закрытыми глазами и притворялся, пока Наташенька не ушла в школу.

Утро вечера мудренее. Я понял наконец — у приятеля был лишь один выход, кстати не такой мудреный: сказать дочке то, что он думает. Но взрослые не всегда решаются это делать, им порой кажется, что дети не поймут. И они начинают придумывать головоломные объяснения, забывая, что, когда сами были маленькими, терпеть не могли, если их водили за нос.

Меня могут упрекнуть, что я выдаю секреты своего клана — взрослых. Но право же, взрослые сами выдают себя, когда поступают неправильно, и в том числе, когда говорят неправду. И пускай меня не считают перебежчиком из одного лагеря в другой. Двух лагерей нет. Если они и появляются, то по недоразумению. Виновниками этих недоразумений бывают взрослые, иногда ребята.

Если я рассказываю про Вовку, значит, я рассказываю и про себя: в нем многое от меня. А если я рассказываю о себе, значит, и о своем отце.

Мне не повезло, мой отец рано умер. Мне было пять лет, когда отец вошел в комнату, застегивая пальто, спросил, что привезти из больницы. Я попросил журнал «Мурзилка». Было слышно, как отъехал от нашего дома «фордик». Мне всегда хотелось покататься на этой машине с брезентовым верхом и спицами в колесах. Но отец не разрешал шоферу попусту тратить бензин. Больше «фордик» не подъезжал к нашему дому…

Отец помогал мне когда-то мастерить из «Конструктора» подвесную дорогу. Мы так и не успели ее закончить. Став уже сам отцом, я подарил Вовке «Конструктор-механик № 1». Мы вместе с ним раскрыли коробку, и я спросил сына, какую будем собирать модель. Вовка перелистнул схемы и ткнул пальцем в модель девятую: «Подвесная канатная дорога состоит из двух опор и натянутого между ними каната…» Мы построили с Вовкой подвесную дорогу.

Есть представления, которые имеют общепринятое значение — Родина, долг, но каждый вкладывает в них и что-то свое, сокровенное, только ему известное. Думая о связи поколений, я вспоминаю ту канатную дорогу.

ЖИЗНЬ КОРОТКАЯ ИЛИ ДЛИННАЯ?

Смотря откуда считать!

Приехал человек с юга и привез с собой корзинку помидоров. Открыл корзинку: помидоры — загляденье, один к одному, спелые, налитые! Только пара, что у края корзинки лежала, чуть испортилась. «Выбрасывать жалко. Съем сегодня те, что похуже, а завтра возьмусь за хорошие». Утром снова открыл корзинку. Помидоры — загляденье, один к одному, спелые, налитые! Только пара, что у края лежит, чуть испортилась. «Ничего не сделаешь, позавтракаю теми, что испортились, а завтра уж буду есть одни хорошие». А завтра произошло то же самое. Каждый день ел он плохие помидоры и ни разу не попробовал хороших.

Ждал и ждал человек — настоящая жизнь начнется вот-вот, не сегодня, так завтра, на худой конец, послезавтра. А жизнь между тем шла себе и шла, и вчера, и сегодня…

Детство называют преддверием юности; юность — порог в самостоятельную жизнь; молодость — канун зрелости; зрелость — путь к умудренной опытом старости. Можно всю жизнь протоптаться на крыльце, переминаясь с ноги на ногу, и в дом не войти.

Давно уже поняли люди, что догонять да ожидать самое нестоящее занятие, и все-таки забывают порой, что детство — это уже жизнь, самая что ни на есть настоящая. Те, кто младше тебя, заняты делом ничуть не менее важным, чем ты сам. Они не дурачатся — а живут, не бездельничают — а работают, не выдумывают — а творят, не любопытствуют — а постигают.

Десятилетний мальчишка. Присмотритесь к нему. Если миру суждено узнать о его гениальности, то вы и не представляете себе, как скоро это произойдет. Ломоносов и Паскаль, Линней и Лейбниц, Шопен и Чайковский к +восемнадцати — двадцати+ годам проявили себя как несомненные гении. Значит, поры детства и юности достаточно, чтобы закалить ум, накопить в душе такие творческие силы, которых хватает на многие годы вперед. Зрелость творчества не подвластна возрасту. Зрелости, которая приходит с годами, терпеливо ожидают лишь посредственности.

А если наш десятилетний мальчишка вовсе не гениален, если он не тот гадкий утенок, из которого непременно вырастет белокрылый лебедь, а парень как парень? Ну и что же, он не гениален лишь для своего века, а несколько сот лет назад мир был бы изумлен его познаниями.

Представьте себе пятиклассника, что болтается во дворе:

неохота идти домой и садиться за уроки. Ему бы время провести, а для этого есть самый испытанный способ — повсюду совать нос. На этот раз мальчишке просто повезло. Во дворе появился сгорбленный старец. Он нашел клочок земли, не залитой асфальтом, и, присев на корточки, стал рисовать какие-то фигуры.

— Вы что, в крестики-нолики играть будете?

Старец смерил мальчишку взглядом и, хоть ясно, что этот веснушчатый надоеда все равно ничего не поймет, ответил ему:

— Занят я, мальчик, делом своей жизни. Ищу соотношение между площадями квадратов, построенных на гипотенузе и катетах прямоугольного треугольника.

До чего же чудной дед попался мальчишке! Видали, тоже нашел себе дело жизни.

— Дедушка, это вы про что? Про то, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов? Так это же каждая собака знает.

— Никто, не говоря уже о четвероногих, не смог до меня доказать этого. И сам я лишь на пути к своему великому открытию, — с достоинством ответил старец и добавил: — А вообще иди-ка ты своей дорогой, не заслоняй мне солнце.

И только теперь смекнул мальчишка, что повстречался ему не кто иной, как Пифагор. Смекнул, потому что, как и положено нормальному школьнику, он давно забыл, в каком веке жил Пифагор, но, конечно же, запомнил, что, когда солдат в Сиракузах занес меч над ученым, последний так же вежливо попросил не загораживать ему солнца.

Как хотите, а наши ребята совсем не простачки. Окажись сегодня Ньютон в школе с математическим уклоном, я бы ему не позавидовал.

У первооткрывателей с работой не все благополучно: на географической карте современного мира почти не осталось «белых пятен». Для вступающего же в жизнь все бело. Ему предстоит нанести бесчисленное множество линий на карту познания. Впервые дотрагиваясь до лица матери, таращась на соску и погремушку, малыш уже исследует.

Исследование будет продолжаться всю жизнь. Но самым стремительным оно бывает в детстве. Мальчишка познает

обыденную жизнь, такую, какая она сегодня: с электричеством и радио, поездами и ракетами. Как безвозмездный дар человечества получает он спрессованный временем опыт поколений. И если согласиться, что детство — ступень в самостоятельную жизнь, то и все минувшее — лишь ступень в Сегодня. Нужно пройти ступень детства, чтобы постигнуть минувшее и начать свое. Детство — это путь в будущее через прошлое, это несколько лет жизни и тысячелетия прежних цивилизаций. Вот что такое детство. Вот откуда начинает жизнь свой отсчет.

Значит, не прозевай начало, торопись… А как быть с поговоркой «Тише едешь, дальше будешь»?

Англичане любят газоны, подстриженные и ухоженные, они стали предметом национальной гордости. Однажды владельца газона спросили: трудно ли вырастить такую ровную и шелковистую траву?

— Очень просто, — ответил он. — Для этого нужно всего-навсего каждый вечер брать ножницы и подстригать траву… И так двести лет.

Насколько длиннее была бы жизнь, если бы в ней можно было все сделать сразу: изгнать негодное и создать хорошее. Но жизнь устроена так, что многое в ней нельзя сделать сразу. Даже если очень хочется, все равно не получится, потому что не все зависит от твоего желания.

Помню, как был вожатым у пятиклассников. Сам тогда учился в седьмом. Время было военное, и все мы мечтали поступить в спецшколы, где готовили будущих летчиков и артиллеристов. Дисциплина там была строгая: получил двойку — домой не идешь, оставайся готовить уроки. Вот и я недолго думая решил ввести такие же порядки у своих подопечных. Двоечников было большинство, и почти весь класс оставался, когда в школе уже ни души не было.

Ребята усталые, голодные — какие уж тут занятия. Один у другого списывает, а я бегаю по классу, слежу, чтобы не подглядывали. Взмок от усердия. Ну ничего, думаю: за неделю успеваемость налажу. Ох, как я спешил! Мне казалось, что я не теряю ни минуты. Неделя прошла, другая, с классом ничего хорошего не произошло. А у меня в дневнике одни двойки оказались: самому некогда было заниматься.

Тот, кто знает цену жизни, старается не терять ни минуты. Но не меньшее знание жизни заключено и в умении не спешить. Сделать быстрее, чем тебе дано, — это сделать хуже, чем ты мог. Забегать вперед, в конце концов, то же, что сидеть сложа руки.

Итог один — ни в том, ни в другом случае ты не сможешь повлиять на окружающий тебя мир, людей, которые около тебя.

Жизнь идет мимо.

Много писали о том, как продлить жизнь. Одни называли это секретом, другие — открытием. Я не делаю открытия и не разглашаю секретов. Я просто знаю, что хорошая привычка продлевает жизнь.

Однажды сказать правду, однажды быть смелым или добрым доступно, пожалуй, каждому. Но это еще не победа над собой. Победа там, где начинается привычка. Привычка! Вот что труднее всего воспитывать.

Чистить зубы по утрам (не помешало бы и вечером), делать зарядку (всегда, независимо от того, выспался ты или нет) — это привычка, правда простейшая. Есть и более сложные.

А почему они так важны, спросим ученых.

Привычка — автоматизированный элемент в поведении человека. Физиологическая основа привычки — выработка в коре головного мозга привычного комплекса нервных условных связей — динамического стереотипа. Первоначальное образование у человека системы привычек трудно для нервной системы. Но зато однажды выработанный динамический стереотип помогает наиболее экономично расходовать нервную энергию, поскольку привычная деятельность осуществляется организмом со значительно большей легкостью, чем новая.

Так говорят ученые. Великий физиолог Иван Петрович Павлов доказал своими опытами, что наши переживания, нервные потрясения — результат изменений, которые чрезвычайно болезненно происходят в установившемся динамическом стереотипе. Мы же часто говорим о том, как трудно бывает в непривычной обстановке.

Представьте себе мотор автомобиля, где зажигание происходило бы не автоматически. Всякий раз подбегал бы механик, поджигал смесь в цилиндре, машина продвигалась вперед, затем механик спешил к другому цилиндру, и так на протяжении всего пути. Не правда ли, недалеко бы уехал такой автомобиль? Но и человек без привычек в какой-то мере ему подобен. Не может же он, в самом деле, совершая каждый поступок, даже самый обычный, мучительно спрашивать себя, правильно он поступает или нет, затрачивая уйму нервной энергии. Большинство своих действий человек совершает как само собой разумеющееся. И чем больше хороших привычек, тем легче ему, тем больше у него сил для новых и полезных дел. Тем больше он успеет сделать их в жизни, а значит, тем длиннее будет его жизнь.

Привычку воспитывают, иногда даже говорят, что ее прививают, как прививают дикому дереву черенок от садового. А

может быть, надо не только привить и воспитать, но и сохранить.

СБЕРЕГИТЕ МАЛЬЧИШКУ

Раньше Вовка играл с бабушкой в животных.

— Ты антилопа, — говорил Вовка.

— А ты каракатица, — ласково отвечала бабушка.

— Ты бесхвостый крокодил, — наглел Вовка, и бабушка, чтобы не оплошать, лихорадочно вспоминала Брема.

Наступил Новый год. Бабушка повела внука к себе на работу. Там устраивали елку. Вовку долго мыли и одевали. Бабушка и внук весело ушли из дома. А когда вернулись, Вовка был еще веселее, бабушка же смущена и неразговорчива.

Внук вел себя на елке достойно. Смотрел кукольное представление и смеялся даже не громче других ребят. Потом ему устроили смотрины в комнате, где работала бабушка. Собрались все сослуживцы. И с каждой из них он здоровался за руку. И каждой на вопрос: «Как тебя зовут?» — послушно отвечал: «Меня зовут Володя». И всем, кто давал ему конфету, не забывал говорить: «Спасибо». В конце концов ему надоело, и он сказал бабушке: «Ну, бесхвостый крокодил, пойдем домой»…

Было это, по мнению Вовки, давным-давно, и вспоминать эту историю он не любит: ему неловко, что он был когда-то таким смешным мальчуганом. Он лезет из кожи вон, чтобы казаться взрослым. Прощается с одними увлечениями и заболевает новыми. Еще недавно он увлекался оборотами речи. Говорил примерно так: «Кстати, на огороде растет лук и, между прочим, редиска». Теперь он говорит обычно, освоил язык взрослых.

Мне всякий раз бывает грустно, когда Вовка расстается еще с одной непосредственной, озорной мальчишеской черточкой, на смену ей часто приходит обыденное, неприметное, общепринятое. Сыну не понять этой грусти, потому что он не переживал еще радости неожиданно возвращенного детства…

Скоро наступит воскресенье. Соберутся мои друзья. Мы условились жарить шашлык. У нас есть для этого свой мангал: старая детская ванночка с обрезанными краями и прорубленными в днище дырками — для тяги. Есть и шампуры — куски расплющенной проволоки. Кто-нибудь начнет гонять мяч — детский, за неимением футбольного. Другие примутся соревноваться на трехколесном велосипеде. Большинству из нас под сорок, а кому и — за. Мы все достаточно солидные. Мы бреемся каждое утро, и из предмета гордости это давным-давно превратилось в скучную обязанность. Мы совсем не мальчишки и бываем счастливы, когда снова становимся ими.

Впрочем, все это ребячливость. И она хороша, без нее жизнь в

чем-то утратила бы свою свежесть.

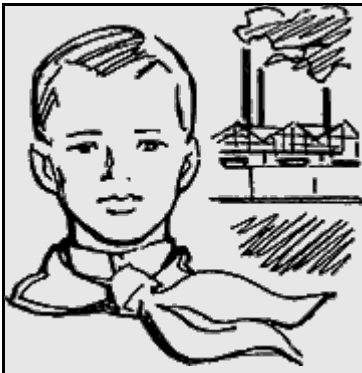
Моим другом никогда бы не мог быть человек, в котором ничего не осталось от мальчишки. Мальчишками перестают быть с годами только люди плохие и скучные. Они говорят о других с ухмылкой сожаления: посмотрите, мол, вырос человек, а все еще остается ребенком, ничему его жизнь не научила. А может быть, это говорит лисица, которая видит зеленый виноград. Может быть, это говорят те, кто давно отрекся от мальчишки, посчитав его обузой в мире взрослых. Говорят те, кто считает мальчишеством не только забавы, но и умение зажечься, готовность, если ты не согласен, спорить хоть со всем миром, способность мечтать. Кто поменял «я так думаю» на «так велено», я «так чувствую» на «так принято», желание сказать правду на умение сориентироваться. Это они, стремясь истребить мальчишку во взрослом, придумали даже специальный термин — «незрелость».

Корней Чуковский в своей книге «От двух до пяти» писал: «Нужны были сотни лет, чтобы взрослые признали право детей быть детьми».

И для взрослого оставаться мальчишкой — тоже его право, не на озорство, нет, право всегда быть естественным человеком.

«Мужчина не может снова превратиться в ребенка или он становится ребячливым, — писал Карл Маркс. — Но разве не радует его наивность ребенка и разве он не должен стремиться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить свою истинную сущность. Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде?»

…Вовкина учительница не то что жаловалась на сына — высказывала опасения, советовалась. Она говорила, что мальчик уж очень «правильный», он нетерпим к неправде, тяжело переживает нечестные поступки товарищей, мальчик обостренно честен. Не будет ли ему трудно в жизни? Я обещал подумать. И подумал. Хочу, чтобы он всегда оставался таким. В конце концов, Дон-Кихот был великолепным мальчишкой и не последним человеком на земле.



ЛЕГКО ИЛИ ТРУДНО БЫТЬ СВЯТЫМ?

Задумывались ли вы когда-нибудь, кто такой святой? Паинька, праведный человек. Такой праведный, что жуть берет: за всю жизнь не разбил ни одного стекла и не выпил воды сырой — потребляет исключительно кипяченую.

Если святой — значит, хороший, так уж принято. Он тебе и сознательный, он и самоотверженный; что бы ни сделал, все «во имя». У него и сила воли, и характер твердокаменный. Как подумаешь о нем, так за себя краснеешь: ты-то вовсе не святой.

Полноте, сдается мне, что святым быть совсем не трудно, очень скучно и удивительно бессмысленно. Хвалу ему воздают не за дела, а за безделье, хвалят не потому, что хороший, а оттого, что никакой. Сидит себе не высовывается, будто нет его. Всем удобен, ни для кого не помеха.

И живется святому совсем не худо. Его никогда, например, не мучают сомнения: сделал как велено — и молись себе на здоровье. Он давно зарубил себе на носу: поступать согласно писанию, тютелька в тютельку. И делает. А потом собой же и любуется: до чего же я святой, какой особенный, ничегошеньки-то мне самому не хочется! Конечно, особенный, если толком-то и хотеть не научился. Бывает и с ним: вдруг появится соблазн сделать что-нибудь такое этакое, не бесполезное. Но прежде согласует, как на сегодняшний день, дозволено это святому или нет, а если выяснит, что неположено, так сразу и расхочется. Его-то уж никто не упрекнет в необдуманном поступке…

Наверное, первую обезьяну, которой вздумалось расхаживать на задних лапах, соплеменники осудили.

Обезьянам повезло, что им не дано быть праведниками, в ином случае, человек произошел бы не от них.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ «НАДО»

Мы разыскивали хирурга Бакулева. Этому предшествовали трагические события.

Мы были уже совсем взрослыми: через год заканчивали институт; и у одного из нас родился сын, первый сын на курсе. Коляску купили в складчину и, толкая ее перед собой, отправились к молодым родителям. Ушли мы от них поздно. И как только оказались на улице, к нам пристало двое парней. С одним выяснял отношения я, с другим — мой друг Лева. Объясняться пришлось в основном руками. Увернувшись от кулака, я увидел, как блеснуло лезвие ножа. Им замахнулся другой парень.

— Левка, нож! — крикнул я.

Но было поздно…

В больницу его привезли в состоянии клинической смерти. Нож пропорол желудок насквозь. Левку оперировали. Он пока жил.

Прошла ночь. Мы не уходили из больницы. И тогда кто-то сказал:

— Есть такой хирург — Бакулев. Бакулев все может. Вот если бы Бакулев лечил Левку!

Был праздничный день. Москва отдыхала. В справочном бюро домашний адрес хирурга нам не дали. Но мы все-таки узнали дом, в котором он жил, — высотный у Красных ворот. Найти квартиру — это уже проще простого.

Дверь нам не открыли, на звонки никто не отзывался. Мы сидели на ступеньках и поочередно бегали к телефону-автомату. Звонили в больницу. Левка не приходил в сознание. Наконец один из соседей предположительно назвал подмосковную станцию, где обычно отдыхал хирург. Вечер и ночь мы ходили по дачам, но безуспешно. Утром ждали Бакулева у ворот научно-исследовательского института.

Хирург спешил на операцию. Он был недоволен, когда мы его остановили. Он не хотел с нами разговаривать.

О том, что Бакулев оперировал на сердце, мы узнали позже, так же как запомнили имена специалистов в области брюшной полости. Мы многое узнали, пока не выздоровел наш друг. А тогда «Бакулев» было каким-то волшебным словом. Он представляется единственным, кто может спасти Левку. Он и только он должен быть у постели больного!

— Хорошо, после операции я приеду в больницу.

Хирург не смог нам отказать, он согласился. Мы

обрадовались этому, но не удивились: мы были уверены, что он согласится. «Нет» — вот что могло быть для нас неожиданным!

Я давно уже заметил, испытал на себе и проверил на других: если один или несколько человек переживают подлинный порыв, если они бесконечно убеждены в необходимости и важности того, чем заняты, — это словно гипнотизирует, им трудно отказать. Спустя время, бывает, и недоумеваешь: отчего ты согласился, как сумели тебя уговорить? Между тем удивительного в этом ничего нет. Энергия убежденности, «надо» как бы фокусируется в острый луч подобно тому, как рассеянные солнечные лучи, пойманные увеличительным стеклом, легко прожигают толстую доску.

И в то же время есть люди, к сожалению их немало, готовые уступить первой трудности, при первом сопротивлении (нет адреса в справочном бюро) считают свою миссию законченной. Таких можно подтолкнуть, сказать, что не все возможности исчерпаны, посоветовать, как поступить. И они честно сделают все, как им скажут, до последней мелочи, пока не столкнутся с очередной преградой. Она снова окажется для них непреодолимой.

Человек не верит в свои силы. А был ли хоть один случай, когда испытал он радость трудной победы: чего-то я стою. Силы испытываются в поступках самостоятельных. Он принял жизнь такой, какая она есть, с раз и навсегда заведенным порядком. Его убедили, что земля кончается там, где появляется первая преграда. Так загляни за «край земли». Для этого нужна самостоятельность.

Он никогда не стремился располагать правом решающего голоса. И в том, что теперь занят, не чувствует своей исключительности: я, только я должен это сделать, и никто другой!

Вспоминая о детстве, Максим Горький писал: «Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде». Среда может быть враждебна человеку, может и не быть такой. Но всегда существует противоположность мнений, так же как извечна борьба нового со старым. В этой борьбе и формируется личность.

Самостоятельность… Она присуща малышу. Малыш не знает края. Первый шаг он делает, не умея ходить. Он самостоятелен без меры от природы. Но еще неизвестно, каким он станет с годами. В этом маленьком тельце заложены и мускулы атлета. А разовьются они или нет, как знать.

ОХ УЖ ЭТИ НЕОЖИДАННОСТИ!

Трудно рассказать о себе. Кто-нибудь возьмет да и решит по ошибке, что ты не раздумываешь над прожитым, а ставишь в пример. Между тем я не представляю, как можно строить свою жизнь лишь на чужом примере. И уж вовсе не хотел бы, чтобы Вовка копировал мой путь. Слишком много неприятных минут доставил я в свое время Вовкиной бабушке и своим воспитателям.

В первый класс, и во второй, и в третий меня водили за руку: надо было переходить улицу, а по ней иногда проезжали автомобили и ломовики. Время мое было строго распределено. Моим домашним, наверное, казалось, что я так и буду шагать всю жизнь по той колее, которую прочертили колесики моей детской коляски. Но наступила война.

Война пришла для всех — и для старших, и для младших. Ночными налетами, дневными очередями за хлебом, набегами на остатки заборов в поисках топлива она смешала утвержденный порядок. В школе мы вспоминали времена, когда за пятачок нам давали горячий завтрак, да еще уговаривали съесть его. Мороженщик на углу Вишняковского переулка с именными вафлями — «Люся», «Коля», «Ваня» — казался фантазией, хрупкой и нереальной.

Теперь на большой перемене по спискам, выверенным и утвержденным, нам давали бублик. Один бублик на большой перемене. Казалось, ничто на свете не могло быть соблазнительней этого бублика. Даже зачерствев, он пах так, что дух захватывало… Но мы не ели этот бублик.

У нас были свои мальчишеские потребности. Нам нужно было бегать в кино. Один киносборник сменялся другим, с экрана улыбался бесстрашный Антоша Рыбкин[2]. А весельчак Джордж из Динки-джаза[3] вылетал из торпедного аппарата подводной лодки и падал на палубу корабля, в объятия своей невесты. Нам нужно было обменивать и покупать марки. Мы готовы были все отдать за любой трофей, привезенный с фронта. Нам многое было нужно.

Ради бублика мы объединялись в группы по шесть человек. Один раз в неделю каждый получал шесть бубликов и отправлялся на рынок.

Рассказы о Сухаревке для меня ничто в сравнении с Дубининским рынком военных лет. Это был огромный человеческий разлив, волны которого докатывались до Павелецкого вокзала. Здесь торговали всем. Кто случайно, кто постоянно. В природе не существовало предмета, который нельзя было здесь купить или продать. На подступах к рынку шныряли

папиросники, предлагали папиросы «Метро», тонкие, как школьные карандаши.

Изо дня в день стоял окруженный любопытными верзила в сером дождевике, надвинутой на глаза кепке. Он торговал обернутыми в фольгу столбиками какой-то чудодейственной мастики. Верзила брызгал чернилами на тряпку, поплевывал на пятно и яростно тер его своей мастикой. Пятно иногда сходило. Открывая красные беззубые десны, осипшим голосом он зазывал покупателей. Он беспрестанно выкрикивал одну и ту же присказку. Я много раз слышал ее, но так и не смог запомнить, до того мудрено была закручена.

Всюду шныряли мошенники, явные и скрытые. Продавали карточки на хлеб. Для убедительности долго рядились о цене, а в последний момент подсовывали покупателю, или, как они его называли, «лопуху», листок чистой бумаги. Они блистательно умели заговаривать зубы и морочить голову. Только вынесет тетка товар, они сразу же начинают с ней рядиться. Вот и сторговались было, завернули покупку, сунули к себе в сумку, ан нет, в последнюю минуту передумали, назад отдали сверток. Тетка развернула бумагу, а в ней тряпье… Карманы у всех — конечно, кроме жуликов — были застегнуты английскими булавками.

Здесь все двигалось, ни на мгновение не останавливаясь, потому что это была «толкучка».

Здесь не было различий в возрасте и положении. Здесь были продавцы и покупатели. Мы продавали бублики.

Мы еще только шли на рынок, а уже знали, на что будет истрачена выручка, каждая копейка на счету. И лишь однажды я не удержался. Продавали мороженое, всего лишь один брикет. Я увидел мороженое впервые за все годы войны. Отказываться от бубликов куда ни шло, но от мороженого… Оно было очень дорогим, и собранных денег не хватало. Тогда я вспомнил о трех картах. Три карты занимали и наше воображение.

Три карты были в руках у безногого инвалида, который сидел, прислонившись к ограде вытоптанного сквера. Перед ним лежала фанерка. Инвалид показывал карты, потом мгновенно перемешивал, бросал на фанерку и поднимал руки. Карты замирали вместе с теми, кто наблюдал за игрой. Нужно было угадать, где лежит шестерка, дама, туз. Это казалось не трудным, и я смело поставил все, что было. Если бы я выиграл, я мог бы купить не только порцию мороженого. К счастью, я проиграл. Подошел солдат, купил «мое» мороженое, повертел его в руках и почему-то сунул в карман шинели.

Я ушел с рынка следом за ним.

Я ушел с рынка. А мог застрять там навсегда, клюнув на копеечные барыши и свободу от свистка до свистка милиционера. Жизнь оказалась сильнее, притягательнее «толкучки».

Была война. Мы не переживали, как взрослые, горечь поражений и утрат, а ловили лишь радость побед. Даже в невзгодах и лишениях находили свой мальчишеский интерес: по утрам торопились в школу, нет, не из-за того, что боялись

опоздать на уроки, — нам нравилось разгружать уголь и дрова.

Мы знали назубок марки вражеских самоходок и минометов, лучше, наверное, чем своих, потому что немецкими, трофейными, была уставлена набережная Москвы-реки. Мы видели колонны пленных на Садовом кольце и подсматривали в щель забора, как работают немцы на стройке. Мы спорили, как относиться к ним, и втайне жалели.

Мы часто бывали в госпиталях, помогая чем могли. Свою первую бессонную ночь я провел в госпитале. Ждали раненых, и нас попросили набить ватой подушки. Мы сами остались на ночь. Мы набили не одну сотню подушек, а утром были похожи на дедов-морозов — до того извалялись в вате… Я и сейчас люблю работать по ночам, пересилив подкрадывающуюся дремоту. С рассветом наступает удивительная легкость, приходит радость сделанного и радость нового дня. И я всегда вспоминаю, что впервые пережил это чувство в госпитале, в свою первую бессонную ночь.

Жизнь была сильнее, притягательней «толкучки». Очевидно, были и взрослые, которые возмущались тем, что я шатаюсь по рынку, объясняли, как это нехорошо, и предсказывали, чем я могу кончить. Может быть, и были, я их не помню. Окончательно увел меня оттуда гениальный длинноносый чудак в ботфортах и при шпаге. Как я мог устоять перед тем, кто у Нельской башни один отразил нападение сотни мушкетеров! Он до последнего вздоха скрывал свою любовь и, умирая, сам накрыл лицо плащом.

Случай затянул меня на спектакль Театра имени Ленинского комсомола «Сирано де Бержерак». И сразу же любовь к театру заслонила все прежние увлечения и проказы. С тех пор я видел десяток разных актеров в роли Сирано де Бержерака. Но моим Сирано навсегда остался Иван Николаевич Берсенев. Я благодарен ему по самой высокой жизненной мере. Героическая комедия о том, чего, кажется, никогда и не было, один спектакль, несколько актеров, которые никогда не узнают, что сделали они для меня! Как мало нужно, чтобы изменить жизнь мальчишки, и как много, если помнить, что это было подлинным искусством!

В конце войны удивительно любили театр. Билеты на десять дней вперед касса Художественного театра распродавала за несколько минут, как сегодня в театр «Современник».

Мы выходили из дома на рассвете, когда еще не истек комендантский час. Кружили проходными дворами, пробирались в тени домов до Балчуга. Здесь ждали, когда на Спасской башне пробьют шесть: мосты охранялись и через них не проскочишь. Десять минут седьмого мы прибегали к Художественному театру

и оказывались в конце огромной очереди. Покупали по четыре билета. Три перепродавались, чтобы оправдать стоимость одного.

Хоть и весьма сомнительным путем, но мы сами вошли в театр, никто не дарил нам его в награду за послушание и примерное поведение. И вскоре мы не захотели быть только зрителями. Мы рвались сами ставить спектакли и играть в них. Писали даже пьесы, то подражая «Русскому вопросу» Симонова, то «Старым друзьям» Малюгина. И тогда же мы открыли комсомольский клуб. Он был первым родившимся после войны комсомольским клубом. Для обзаведения нужны были деньги.

На старой пишущей машинке отстучали билеты и, набив ими портфели, отправились в Подмосковье. Размалеванные афиши на стенах сельских клубов гласили, что приехала концертная бригада, нагрянули лауреаты всех конкурсов, которые когда-либо проводились. Мы пели, отбивали чечетку, копировали Райкина; кто умел, ходил на руках.

Исполнив как-то очередной номер, я выбежал за кулисы с подносом в руках. Там дожидались двое. Вопросы их были кратки и неприятно определенны: кто разрешил программу, почему билеты не отмечены фининспектором и вообще откуда мы взялись? Мы со всей искренностью заверяли, что не знаем, у кого полагается утверждать программу для выступлений в сельском клубе, а живого фининспектора никогда и в глаза не видели, читали только о нем стихи Маяковского. Хранители порядка были неумолимы. Один из них обнадеживающе сказал:

— Ничего, скоро всё узнаете, будете учеными. Кончайте свой балаган, потом разберемся.

В те времена нам еще была неведома школа режиссера Охлопкова, в чьих спектаклях артисты непременно проходили через зал. Мы стали его последователями поневоле. Финал концерта был моментально изменен: спели заключительную песню и ушли не за кулисы, где нас поджидали, а бодро прошествовали мимо зрителей, прощаясь и помахивая своими портфельчиками. Оказались на улице и кинулись врассыпную. Только на станции собрались все вместе…

Я написал все, как было. Составил точный перечень своих неблаговидных поступков. Но не примите это за покаяние грешника. Я буду не честен, если скажу, что меня мучает совесть. Я не променяю годы войны на то время, когда меня водили за руку; мне кажется, моя жизнь была бы беднее, я был бы меньше готов к тому, что меня ждало, когда я стал взрослым.

Но как легко рассуждать о том, что было и прошло. А если у Вовки появится свой Дубининский рынок? Мне страшно об этом подумать. Только теперь я начинаю понимать, сколько

неожиданностей пришлось пережить моей матери. Сколько раз, наверное, превозмогала она в себе желание запереть меня на ключ и никуда не выпускать из дома! Превозмогала, потому что никогда так не делала. Мать — это мать, и не разделишь, где владеет ею любовь к сыну, а где соображения воспитателя. Знаю лишь одно, что мама никогда не стремилась преувеличить мои оплошности, пугать меня и мучить себя. Стараясь понять сына, она всегда умела вставать на мое место. Она понимала: в жизни бывает всякое — дурное, хорошее, и если оселком к самостоятельности окажется поступок, который в ее представлении не идеален, стоит ли лишь поэтому спешить с запретом?

Летом Вовка учился плавать. Мы были с ним в доме отдыха. Огня он боялся меньше, чем воды. Не было силы, которая заставила бы его войти в море выше колена. Я уговаривал — он не шел. Я стыдил — он не обращал внимания. Я тащил насильно — он орал. На пляже собиралась толпа любопытных и сердобольных. Я шипел на Вовку, а он орал еще громче. Переносить такой позор было выше моих сил. Утром Вовка объявил, что у него болит горло, и сам охотно пошел к врачу. Доктор ничего особенного не обнаружил, но посоветовал переждать день — не купаться.

— А вы не дадите мне справку, для папы, чтобы он не тащил меня в море.

Сын одолел, он усмирил мою гордыню, я купил ему резиновый круг и махнул рукой…

Когда это случилось, я бросился в воду. Только бы успеть! Кто-то нырнул следом. На пляже кричали. А произошло вот что. Тихохонько загребая на своем резиновом круге, Вовка незаметно добрался до бетонной полосы волнореза. Чуть доставая ногами, хотел встать на плиту и задел локтем пробку. Воздух вырвался из круга, а Вовка стал пускать пузыри. Я уже выбился из сил, а волнорез оставался все еще далеко. Лишь бы успеть! Я не успел. Вовка сосредоточенно плыл навстречу мне. Он был так напряжен, что не мог даже головы повернуть в мою сторону. Я хотел протянуть ему руку.

— Не надо, я сам.

— Ты устал?

— Не так уж.

Когда прошел испуг, я понял: сын научился плавать.

ЗАБОТА О СЕБЕ

Вовка приносит сломанную игрушку — трактор. Батарейка новая, лампочки загораются, машина урчит, но не трогается с места. Сын просит:

— Папа, давай починим вместе. Ну, пожалуйста!

— Хорошо. Сбегай на кухню, принеси отвертку. Знаешь, ту, в которой много других.

— Есть! — кричит Вовка, прикладывает ладонь к виску и бежит, сметая все на своем пути.

— К пустой голове руку не прикладывают, — рассеянно замечаю ему вслед и погружаюсь в изучение конструкции.

Вовка терпеливо стоит с отверткой, пока я соображаю, как проникнуть в нутро трактора. Отгибаю заклепки. Снято днище. Вовка мешает, лезет через руку.

— А что там?

Я неохотно показываю лопнувшую шестеренку.

— А что с ней? — спрашивает Вовка, хотя прекрасно видит: развалилась на две части.

— Сломалась.

— А почему?

— Потому что она из пластмассы, — отвечаю я. (Не правда ли, чрезвычайно умно?)

— А что ты теперь будешь делать? — спрашивает он. (Уже не «давай починим вместе», не «мы будем делать», а именно «ты будешь делать»!)

Я-то знаю, что делать. Сам бегаю из комнаты на кухню, ищу молоток, прикидываю, как бы приспособить сковородку под наковальню. Вскрываю днище у двух автомобилей и тягача, с мясом вырываю оттуда шестеренки. Одну из них наконец вбиваю в трактор. Вбиваю, потому что она не подходит. Одновременно зреет рационализаторское предложение: надо бы специальным указом стандартизировать все детские игрушки; однако трактор сделан в ГДР — тогда заключить международное соглашение.

— Починил? — спрашивает Вовка, который за это время чуть не остался немым.

— Само собой, — отвечаю я таким тоном, будто укоряю его.

— Дай попробовать!

Видали, чего захотел! Дать ему первому попробовать, когда я сам починил трактор. Я подталкиваю сына к двери, расчищаю место на полу, нажимаю на кнопку. Загораются лампочки. Трактор урчит и едет. Едет!

— Ну дай же мне… — канючит Вовка.

— Подожди.

Трактор носится по комнате, ударяется о ножки стульев, поворачивается, сам прокладывает себе дорогу. Никогда не видел таких игрушек.

Вскоре мне надоедает нажимать на кнопки управления. Оказывается, играть в эти игрушки не так уж интересно. В наше время надо было возить руками по полу — вот когда можно было пофантазировать. Я вожу трактор по полу и урчу, то ли от удовольствия, то ли изображая работу мотора, но приглушенно, чтобы слышал я один.

С большим опозданием во мне просыпается совесть. Я вспоминаю о сыне и обнаруживаю его пропажу. Разыскиваю его на кухне. Он сидит и самозабвенно вскрывает днища у всех оставшихся автомобилей. Отвертку он стащил у меня со стола.

Итог наших совместных, если их так можно назвать, занятий никак не впечатляет. Игрушки переломаны. Вовка попросил помочь, а вместо этого я захватил у него право мастерить самому. Но отчего же захватил? Я же исправил игрушку. Взял на себя труд. Наконец, я просто-напросто увлекся. Думать о себе, что ты можешь увлечься, — приятно. Я даже испытал некоторую гордость, что оказался еще бóльшим мальчишкой, чем Вовка. Сделать самому интересней. Но если быть до конца искренним, то и проще. Ждать, пока сын освоится с отверткой, смотреть, как возится с непослушными заклепками, нужно время и терпение. Его не хватает.

И так во всем. Мне легче самому найти решение задачи, чем помалкивать, пока Вовка потеет над ней. Вам легче показать младшему брату на ошибку в примере, чем сказать: ищи сам; и бесконечно долго ждать, когда он обнаружит ее.

Всякий раз, оттирая младшего плечом, убирая все преграды с его дороги, мы оправдываемся заботой о нем. Оправдываемся и обманываем самих себя. Мы заботимся не о благе младших, а о своем покое: то, что для младшего проблема, для нас пустяк.

А если бы Вовка сам взялся за починку трактора: автомобили все переломал, а игрушку, наверное, не смог бы исправить. Я, конечно же, не преминул бы его упрекнуть, стал осуждать, возмущаться. На языке всегда вертятся готовые фразы: «не умеешь — не берись», «ничего тебе в руки нельзя давать», «ломастер — вот ты кто».

Соблазн осуждения велик. Бывало, мы упрекали друг друга в школе: ты не встал, не осудил проступок товарища. Понятно, если ты не сделал это только потому, что захотел быть добреньким или просто струсил — грош тебе цена. Но верно ли, что осуждение всегда дается с таким уж трудом? Для того чтобы

осудить, нужен характер. А для того чтобы терпимо относиться к другим, сдержать в себе протест и постараться понять, разве не нужен характер? Нужен и характер, и богатство души, и умение уважать не только себя, но и других, а главное, не страдать манией величия, не думать, что только ты стал средоточием мудрости и справедливости.

Право осуждения вдохновляет. Тебе дали повод, ты распаляешься все больше и больше. Уже не думаешь, от чего произошел скверный поступок, как объяснить его, а лишь бы сильнее задеть, больнее уколоть провинившегося. Не замечаешь, себе не признаешься, как происходит самое удивительное: поступок, который вызвал гнев, втайне начинает радовать, он дал возможность высказать то, что накипело.

…Вот и я говорю Вовке: «Смотри, если в следующий раз принесешь двойку…» И этим подразумеваю, что так и будет.

НЕ ОТРИЦАТЬ, НЕ ПРЕДЛАГАЯ

Какую память школе ты оставил о себе? Чаще всего вспоминаются деревца, которые были когда-то посажены. Деревья стали большими, а школьный двор тенистый. Вот тебе и память — приятно, не правда ли?

Двор школы, которую я кончил двадцать лет назад, такой же, как и другие, деревья выросли, как им и положено. Но, увы, никаких чувств при виде их я не испытываю. А вот стоило мне однажды заглянуть в зал своей школы, и я очень расстроился: исчезло уродливое сооружение, занимающее добрую треть зала и гордо именуемое сценой.

На озеленение школьного двора нас сгоняли, строго проверяли по спискам, кто пришел, а кто увильнул. Мы еще соглашались копать ямы взамен уроков физкультуры. Но оставаться после занятий — это уж дудки. У нас даже был свой клич: «Обзеленяйсь!» Услышав его, все моментально разбегались. Не так-то мы дорожили своим временем, и поорудовать лопатой было не трудно, нет. Просто было скучно. Кто-то постановил, что настала пора озеленять школьный двор. Кто-то определил, где и какие деревца сажать.

— Копай яму здесь и еще выкопай там.

Нестоящее занятие.

А когда наступило лето, мы не уехали на каникулы, все время проторчали в Москве. Нам захотелось построить сцену в школьном зале. И никто нас не призывал к этому и не обязывал. Скорее наоборот. Мы развели ужасную грязь, и завхоз каждый день жаловался на нас директору. Мальчишки тогда учились отдельно; строить сцену к нам приходили девочки из соседней школы, и кое-кому из преподавателей это тоже не нравилось.

Сцену сколачивали из ничего, потому что в школе ничего не было. Были только не слишком щедрые шефы, но зато их было много. Мы приходили к директорам предприятий и управляющим каких-то контор. Нас принимали и даже усаживали в кожаные кресла. Мы просили, и нам давали материалы.

Мы ни от чего не отказывались. Везли все, что нам давали. Не оказалось досок — забрали машину горбыля. И в том же зале принялись строгать, впервые взяв рубанок в руки. Для школы, где и днем с огнем доски не сыщешь, добыча наша была богатством невероятным. Мы зорко охраняли его от посягательств завхоза. Сама директор попросила у нас отрезать от большого мотка сукна кусочек для портьеры, но и ей мы ответили, что прежде смерим, посмотрим, хватит ли нам самим. Сцена получилась

великолепная. Пусть из неровного, плохо обструганного горбыля, пусть криво сколоченная, но зато огромная, с большими карманами, люками и нижним этажом, где можно было передвигаться, правда лишь ползком. На студии «Мосфильм» удалось выпросить списанные софиты, и один из нас, избравший амплуа электрика, все время лежал под сценой на животе, мастерил проводку и укреплял рубильники.

До начала учебного года оставалось несколько дней, мы не успевали. Весь первый этаж был завален обрезками материалов, сцена стояла непокрашенной.

Мы совсем переселились в школу. Девочки приносили что-нибудь поесть, а мы прибивали, красили, переделывали и очень много смеялись. Все время смеялись. И если теперь, к сожалению, не слишком часто мне бывает весело, я всегда вспоминаю, что прежде, когда строили сцену, было веселей.

Ребята могут все: и построить сцену, и выпускать фотоаппараты. Это я о колонистах, которыми занимался Макаренко. И то, что выходит из их рук, имеет как бы двойную ценность — прямую, вещественную, всем заметную, и другую, зачастую скрытую: создавая, они создают себя. Это доказано школой Антона Семеновича Макаренко. Теперь с ней никто не спорит. Но соглашаться — еще не быть последователем. Мало и понимать ее. Нужны еще усилия, чтобы во всем и всегда быть подлинным воспитателем, таким, каким был сам Макаренко. Он был великий и щедрый творец. Щедрость его творчества заключалась в том, что все, кто оказывался рядом с ним, тоже хотели творить. Никому не было тесно.

Бывая на Каляевской улице, я непременно заглядываю во двор около студии «Мультфильм».[4] Там есть небольшая спортивная площадка, по старой памяти я называю ее стадионом. Когда-то здесь был пустырь. Хозяйничали на нем дорожники Свердловского района: из года в год свозили сюда то, что оставалось от ремонта улиц, — глыбы старого асфальта. Гора росла, постепенно занимая весь пустырь. Асфальт спрессовался, и казалось, ничто не могло его сдвинуть.

На пустырь пришли школьники. А мы в райкоме комсомола даже приняли решение — создали межшкольную организацию для строительства стадиона. Каждый день ребята долбили асфальт. Он крошился, отваливался щепотками. Работа двигалась медленно, могла протянуться не один месяц. Но хотелось победить гору. Это казалось почти невыполнимым, а потому увлекательным. И вот на стройку приехал председатель исполкома. Он сказал: «Как не стыдно мучить школьников! В двадцатом веке вы ковыряете ломами. Пришлю пару

экскаваторов, десяток машин — и горы не будет».

Горы не стало за один день. И школьников тоже. Стадион превратился в спортплощадку, доделывали ее строители. А ребятам стало неинтересно.

Тот председатель, бывая на Каляевской улице, быть может, тоже заглядывает на площадку. Она радует его. Он приложил к ней руку. Но, сделав одно, зачеркнул другое. От его творчества другим стало тесно.

Главный редактор газеты, с которым довелось мне работать, ввел такой порядок: ничего не отрицай, сам не предлагая. Применительно к газете это означало: не нравится заголовок статьи — назови свой, не приглянулась рубрика — выдумай лучше, кажется случайной тема статьи — предложи другую. Только не отрицай, не предлагая. В этом порядке, несомненно, было разумное начало: там, где только отрицают, аккумуляторы творчества работают на разрядку.

Как часто, пусть и справедливо, отрицая то или другое, в нас самих не загорается контрольная лампочка, мы не задумываемся: а что же предлагаем взамен? Талант не может только отрицать, он предлагает. Талант человека вообще и воспитателя тоже. Помочь найти такое увлечение, которое само по себе, без понуканий и внушений заставит отказаться от одних черт характера и потребует выработать другие.

Мы терпеливо объясняем подростку, в чем он был неправ. Если не внял уговорам — наказываем, в той или иной мере сурово; последнее зависит от уравновешенности старших. Иногда это производит впечатление. Надолго ли? Зависит от того, что мы предложим взамен.

Лет пятнадцать назад на многих улицах Москвы появились объявления: «Все, кто любит шутку и смех, веселую музыку, песни и танцы, приходите в Свердловский райком комсомола».

Пришли многие. Несколько дней райком только и занимался с поступающими в эстрадный коллектив. Поклонников саксофона и барабана, охотников выйти на сцену собралось больше, чем мы могли предполагать.

В то время никто не предвидел грядущего нашествия битлов. Были «стиляги». Они отличались отвратительными ужимками и блуждающими усмешками. Почти никто из наших новых знакомых не мог спокойно стоять на месте, все время подергивались, приплясывали: камерные выступления по парадным давали о себе знать. Но именно таких ребят мы и отбирали в «артисты».

Удостоверение — вот что прежде всего потрясло их. В коричневом коленкоре, с золотым тиснением: «Эстрадный

коллектив Свердловского района». Удостоверение получил каждый. И хоть предъявлять его было негде да и некому, у каждого из кармана пиджака высовывался коричневый краешек. Коленкоровые книжечки оказались сильнее наших слов и планов о радужном будущем эстрадного объединения.

Начались занятия, репетиции оркестров, вокалистов, речевиков и даже драматургов, которым предстояло сочинить представление. И было удивительным, почти неправдоподобным: даже случайно оброненное слово становилось законом. Стоило невзначай обмолвиться на репетиции: с такими лохмами, конечно, нельзя выходить на сцену, — и на следующий день ребята были аккуратно подстрижены.

Они гордились своим эстрадным коллективом. Мальчишки, о которых еще вчера можно было говорить все что угодно, кого давно не трогал лексикон взбешенных управдомов, вдруг обрели чувство собственного достоинства.

Оркестр занимался в полуподвальных комнатах. Директор этого заведения, именуемого клубом, не был обрадован непрошеными гостями и не чаял, как от них избавиться. Как-то утром раздался звонок в райком комсомола:

— Приходите полюбуйтесь, что устроили ваши музыканты.

В комнате валялись бутылки из-под водки, битые стаканы. Мы оставили до вечера все, как было. Вечером собрались оркестранты. Сами прибрали помещение. И каждый из ребят встал, и каждый сказал, что к пьяной оргии не имеет отношения. Трудно было им не поверить, и мы посчитали инцидент исчерпанным.

Однако ребята решили иначе. Они начали свое расследование и вели его до тех пор, пока не доказали, что пьянствовал в клубе сам директор. Они не могли смириться с тем, что кто-то может подумать о них плохо.

*

Задумывались ли вы когда-нибудь, кто такой святой? Паинька, праведный человек? Это всем известно. Но вы прежде в его шкуре походите, а потом уж судить беритесь.

Ох и несладко ему приходится! Делай все, как сказано, тютельку в тютельку и ничегошеньки от себя. Ни с кем не поспорь, никому не возрази. А как не возразить, если тебе глупости говорят? Все равно нельзя, терпи. Шага по своей воле не

сделай, непременно согласуй да утверди. И поплакаться на свою судьбу некому, сам же святым назвался, взял на себя такое обязательство.

До чего же это трудная должность быть святым, живому человеку прямо не по силам.

«КОММУНА НОМЕР РАЗ!»

НЕ ИЩИ ОПРАВДАНИЙ

Маленькая многотиражная газета издавалась на большом предприятии. Я — ответственный секретарь редакции. Он — руководитель предприятия. Я приносил ему план очередного номера. Он, вычеркнув темы многих статей, выводил на краю листа прыгающими буквами: «Утверждаю».

Поднимаясь по широкой парадной лестнице, открывая дверь в его кабинет, еще на пороге кабинета я был готов к спору. Я хотел сказать ему: вы лишаете газету критики потому, что боитесь, как бы не задели ваших любимчиков, а на всех остальных позволяете себе орать и стучать кулаком. Я перестал уважать его в тот день, когда услышал, как оскорбляет он старика вахтера, который, не признав «начальство», осмелился спросить пропуск.

И я говорил ему все это, то задыхаясь от негодования, то сдерживая гнев, говорил много раз, только про себя. Речи, произнесенные про себя, всегда кажутся самыми неотразимыми. А когда мы оказывались с глазу на глаз, я молчал. Против меня сидел грузный человек с седой головой и красными полными губами. Его взгляд, многозначительный тон гипнотизировали, вдавливали меня в кресло. За каждым словом крылся недоступный мне опыт прожитой жизни. И я ничего не мог поделать с собой. Против собственной воли я начинал кивать головой и поддакивать.

Не решившись сделать то, что был должен, человек находит себе утешение в оправданиях. Можно вспомнить, например, о возрасте и авторитете собеседника или решить, что сейчас не время, или, наконец, сказать себе: что изменится, если скажешь правду, другие-то молчат? Когда струсишь во второй раз, уже не надо подыскивать оправданий, они наготове. А в третий — просто пожимаешь плечами: а почему, собственно говоря, следует высказываться?

Я отступал раз за разом, а он раз за разом разрушал все, что во мне было. Я ненавидел его, но еще больше презирал себя.

Однажды я записал свою непроизнесенную речь. Это и натолкнуло на мысль опубликовать статью в областной газете. Первая статья в большую газету.

Жутко было тогда, сомневаясь над каждым фактом, выводить слово за словом. Как неловко было нести рукопись в редакцию и объяснять, что я не склочник, а поступаю, как велит совесть, ради справедливости. Ради справедливости? Несомненно. Но где-то оставалась червоточинка: все-таки я не решился сказать ему в

лицо то, что думаю.

Наступила ночь перед публикацией статьи. Где-то верстальщик, зажав между пальцами свинцовый столбик строк, положил его на раму. Где-то редактор, надев сатиновые нарукавники, просматривал жирно оттиснутую влажную полосу. А я сидел дома и вчитывался в каждую строчку гранок. Вдруг один факт почудился сомнительным, через минуту я уловил в нем двусмысленность, через две — он казался совершенно неверным. Шел двенадцатый час ночи. Вахтер не пустил в редакцию, кивнул на телефон. Значит, можно было позвонить из дома. Я говорил с редактором и услышал в ответ:

— Не волнуйтесь. Вашу статью надо было сократить, и я убрал как раз этот абзац.

Утром я шел на работу. На стенде висела газета с моей статьей. И я понял, что испытания для меня только начинаются. Нужно было подняться к себе в редакцию, нужно было править заметки, говорить с людьми и делать вид, будто ничего не произошло: подметил недостатки и написал, велико ли дело!

Заседание для обсуждения статьи назначили на три часа. Я сам определил для себя время: ждать до пяти минут четвертого; если не позовут, пойду без приглашения. Сидел и тупо смотрел на циферблат. Меня не пригласили. Постукивало в висках: не позвали — и хорошо, тебе не обязательно присутствовать, это нескромно.

К знакомому кабинету я шел, наверное, слишком быстро, потому что открыл дверь и не сразу перевел дыхание:

— Как автор статьи, я хотел бы присутствовать на обсуждении…

Разрешили. В статье говорилось, что за плохую работу предприятия отвечает прежде всего он — руководитель. Теперь один за другим поднимались его заместители, перечисляли недостатки и ни слова не произносили в его адрес. Снова постукивало в висках: пришел и сиди, выступать совсем не обязательно, это нескромно.

Я попросил слово. Я смотрел ему в глаза, на его красные полные губы и говорил все. Все, что столько раз произносил про себя. Он не выдержал и отвел глаза. Он не мог, как прежде, сидеть, развалясь в кресле.

После моего выступления закончили прения и чинно записали в протоколе: «Статья в основном соответствует действительности».

Наши отношения на этом не закончились. Мы и потом встречались, испытывая взаимную неприязнь. Мы часто спорили, но теперь на равных, я завоевал это право.

Нравственная чистота гражданина — сродни мальчишке. А точнее, в мальчишке есть все от гражданина. Для мальчишек еще не настало время понять и разделить человеческие слабости. Они не признают смягчающих вину обстоятельств и судят обо всем категорично. В суждениях этих, наверное, проявляется свойственная человеку вера в правду и справедливость. Тому, кто только вступает в жизнь, она особенно присуща.

Разные бывают в жизни критические ситуации. Иногда они привлекают внимание всего общества, чаще о них знают лишь несколько человек, но разрешение их всегда требует усилия воли.

В шестом классе у нас появился Юзвик. Из одной школы его перегоняли в другую, в шестом он сидел года три, был старше и сильнее нас, поблескивал «фиксом» — фальшивой коронкой — и награждал одноклассников подзатыльниками, затрещинами и оплеухами.

Самый сильный — Толька Белов, он занимался боксом в детской спортивной школе — в первый же день вызвал Юзвика «стыкнуться». Это был благородный поединок, один на один, «до первой крови». Дрались за школой. Мы стояли, окружив их тесным кольцом. Юзвик отделался синяком под глазом, а Толька был избит в кровь.

Юзвик продолжал править. Постепенно мы свыклись. Кто-то подлизывался, стремясь заслужить его покровительство, а большинство жгуче ненавидели, предпочитая не попадаться ему на глаза.

В те годы больше всего на свете мы боялись потерять хлебные карточки. Месячные карточки разрезались на три полоски — по декадам. Но потерять паек на десять дней тоже было очень страшно. Мы носили карточки с собой, потому что после школы отправлялись в очередь за хлебом, или, как говорили тогда, «отовариваться».

Когда я вошел в класс, кроме Юзвика, там никого не было. В его руках я увидел длинные бледно-зеленые листки. Это были карточки. Юзвик поспешно сунул их в карман и, оттолкнув меня, вышел в коридор.

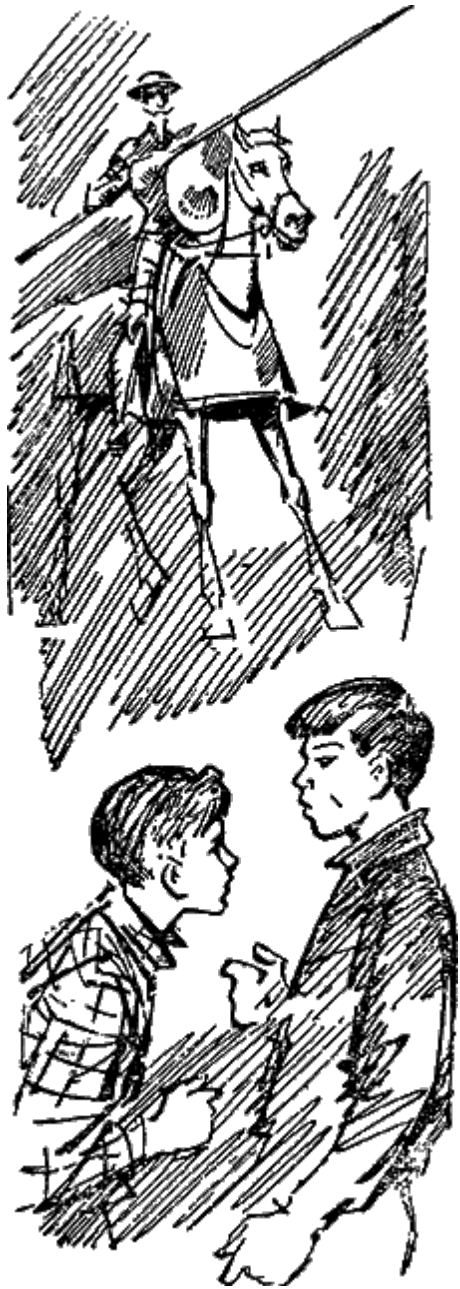
На следующей перемене громко заплакал Игорь — лобастый, щуплый мальчишка. Он выворачивал карманы, перетряхивал тетради и учебники. Пропали хлебные карточки. Сбежались ребята, снова листали учебники, ползали по полу. А Игорь уже не верил, что карточки найдутся. Он рыдал, опустив голову на парту, заикаясь, выговаривал сквозь слезы:

— Что я буду делать… что скажу дома…

Я скорее почувствовал, чем увидел, как стоит Юзвик у доски, безразлично и надменно глядя на наши поиски. Я бросился к

нему, как бросаются с вышки вниз головой.

— Отдай карточки! Ты их украл. Карточки у тебя в кармане. Отдай!



Юзвик отдал карточки. Но с тех пор ловил меня в переулках и бил. Бил долго и жестоко, пока не попался на чем-то еще и его не посадили. Но сейчас я даже не могу припомнить, страдал ли от его побоев. Радостное чувство свершившейся справедливости было сильнее кулаков Юзвика.

Я хотел уже было написать, что быть гражданином так же естественно, как быть мальчишкой. Но понял, что это не так.

Помните короля из сказки Андерсена? Ему будто бы сшили такой костюм, который может разглядеть лишь тот, кто умен и честен. И все смотрели на. голого короля, и все молчали, так и не решившись сказать то, что видят. Кому охота признаваться в глупости. А мальчишка крикнул: «Король-то голый!» Он крикнул, ни на кого не оглядываясь. Мальчишка еще и слыхом не слыхал о такой штуке, как общественное мнение, ему было наплевать, что о нем подумают.

Минуют годы, снова соберется народ на площади, и еще один незадачливый король попадется на удочку работников индивидуального пошива. Сможет ли тот бывший мальчишка при всем народе снова громко сказать правду? Если сможет — значит, он сберег то, что теплилось в нем с детства; непосредственность и правдивость стали сознательными качествами гражданина.

«ДЕРЖАТЬ ДУШУ ЗА КРЫЛЬЯ»

Петр Герасимович работает модельщиком шестого разряда на машиностроительном заводе в Ленинграде, и вот какое письмо прислал он однажды в редакцию газеты:

«Прошу внимательно отнестись к моему письму. Говорит с вами надломленная душа человека, проработавшего 37 лет на производстве и почти на одном заводе. Уезжал я только по вербовке на строительство славного первенца первых лет индустриализации нашей страны — Кузнецкого металлургического комбината. Я был уже тогда убежденным физкультурником, активным участником художественной самодеятельности.

Потом я был призван во флот на Тихий океан. Служба моя прошла так же прекрасно, как и на Кузнецкстрое. Дисциплину я любил, даже просил дежурного перед сном: „Если будут ночью приказания, будите меня“. Я любил приказания выполнять только бегом.

После службы я вновь вернулся на родной завод и опять стал патриотом всех благородных дел. Я и мои товарищи занимались в оркестре, в изо- и хоровом кружках, по радио изучали азбуку Морзе и язык эсперанто, который почему-то не привился.

В первые дни Отечественной войны я был мобилизован. Наша часть всю войну охраняла штаб Ленинградского фронта. Война прошла — опять неплохо. После войны я женился. У нас народилось две дочери. Я, как мужчина, не считаюсь ни с чем, разделяя все трудности быта. Я не имею понятия отложить деньги, сходить в кино без жены. Расчетный листок я постоянно приношу домой.

С малых лет я стал прививать дочерям любовь к спорту. Мы приучили их с женой пить рыбий жир и витамин „С“. Младшая дочь уже в комсомол вступила без каких-либо уговоров. Старшая же из возраста пионеров вышла и в комсомол не вступила, несмотря ни на какие внушения.

Как это получается: в семье, где родители служат положительным примером, у старшей дочери развиваются дурные привычки? Она может без разрешения съесть сладкое и не признаться. Вначале мы пытались убеждениями действовать — не помогает. Стал я применять физические наказания — не помогает. Ей ничего не стоило в прошлом году, то есть в девятом классе, прогулять пятнадцать дней, маскируя это как опытный жулик. Радует нас младшая дочь. Уроки готовит самостоятельно. Мы даже не контролируем ее и не лазаем в ее портфель, что

приходилось делать со старшей дочерью.

С малых лет, еще чуть ли не грудных, я брал дочерей на демонстрации. Транспаранты несу не по обязанности, не желая кому-либо передать.

Состою во всех добровольных обществах, какие только есть, не менее десяти. Плачу взносы с душой и стараюсь воздействовать на других. А когда я был предцехкома и мне давали премию персонально по сто рублей (старыми деньгами), я не мог их взять себе, я водил на эти деньги всех членов цехкома с их женами в театр».

Письмо это Петр Герасимович написал потому, что его сместили с должности руководителя бригады коммунистического труда. Бригада не захотела с ним работать.

Я беседовал с ребятами из этой бригады.

— Мы коллектив коммунистического труда, и Петр Герасимович человек вроде бы идейный, только работать с ним больше не хотим. Он мыслит и говорит правильно, на словах не возразишь, а душой не согласен… Вот, к примеру, ошибешься в чем-нибудь — бригаду собирает, других рабочих зовет, на весь цех стыдит, распекает. Словно праздник у него, говорит, будто радуется. Он всегда радуется, когда замечание делает, только и ждет, как бы свою принципиальность выказать.

Беседовал со старшей дочерью Петра Герасимовича.

— Папа мне плохого не желает, хорошему учит, только жить я с ним вместе не могу. Школа мне место в интернате выхлопотала. Хотелось мне в интернат, а дома не позволили. Теперь год ждать осталось: папа обещал, когда восемнадцать исполнится, он разрешит мне отдельно жить. Я и в техникум потому хочу поступить, чтобы окончить и куда-нибудь уехать. Обязательно в такой поступлю, после которого далеко-далеко направят.

Встретился я и с Петром Герасимовичем. Все есть в его характере: и трудолюбие, и настойчивость, и требовательность. Не хватает только одного — человечности. А без нее не бывает ни семьи, ни коллектива, не бывает и хорошего человека.

Если изменчивое течение жизни ввести в русло раз навсегда установленных правил, убеждения превращаются в упрямство, разумные рассуждения — в догматизм. Петр Герасимович слушал лекции, запоминал лозунги и призывы, стараясь никогда ни в чем не отходить от общепринятых образцов. Он гордится своей принципиальностью. Но принципиальность не прямая передача: сказано — сделано! Принципиальность, лишенная человечности, принципиальность не из-за убеждений, а по привычке неминуемо превращается в жестокость.

В пору учебы или на занятиях политкружка Петр Герасимович не мог не слышать, что наше государство создано во имя человека. Но это так и осталось истиной вне его. Говорят, что иногда жизнь ожесточает. Возможно, но Петр Герасимович усердно ожесточал жизнь.

Долго мы говорили с Петром Герасимовичем. У меня незаметно догорела сигарета, пепел упал на пол. Я смутился: заметит Петр Герасимович, обязательно укажет на это нарушение. Но он не обратил внимания. Тень раздумья легла на его лицо. Потом вдруг ушла, взгляд стал светлым. Он сказал:

— Ну что ж!.. Людей без недостатков не бывает. И у меня есть: ни одной центральной газетки не выписываю, только заводскую многотиражку…

Я не стал спрашивать Петра Герасимовича, с трудом ли дается ему то, что он принимает за принципиальность. И так было ясно — без труда.

А меня, например, жизнь научила остерегаться тех, кто утверждает, будто еще с младенческой поры свыкся с принципиальными поступками, и даются они без напряжения, как само собой разумеющееся.

В принципиальном поступке я вижу поступок во имя идейных принципов, и он часто вопреки — вопреки твоим привычкам, обыденному течению жизни. Порой вопреки мнению одного или многих людей. Идти напролом, без оглядки, сметая все вокруг, — к этому готовы и упрямец, и маньяк. А подлинно убежденный человек не боится раздумий, он не гонит их прочь, ему знакомы и сомнения и мучительные вопросы, которые он обращает и к другим, и к самому себе. Нет, не от слабости. Он живет той жизнью, которую стремится переделать, ему не безразличны люди, с которыми он спорит. Он потому и принципиален, что сумел перебороть сомнения и поступить так, как требовали принципы. Трудно, но ничего не поделаешь. Легко может быть лишь тогда, когда в глубине души тебе безразличны и люди и дело, которым они заняты… Если тебя расхваливают за принципиальный поступок да еще ставят другим в пример, а сам ты знаешь, что совершить его ничего для тебя не составляло, — насторожись. Здесь есть над чем подумать.

Пламенным революционером и гуманистом вошел в жизнь каждого из нас Владимир Ильич. Воля, энергия, гений Владимира Ильича были отданы созданию партии, победе революции, рождению первого в мире государства рабочих и крестьян.

Когда Владимира Ильича уже не было в живых, Горький писал Ромену Роллану: «Я знаю, что он любил людей, а не идеи, вы знаете, как ломал и гнул он идеи, когда этого требовали

интересы народа».

Идеи, оторванной от жизни, не существовало для Ленина, так же как чужда была ему принципиальность во имя принципиальности. Он любил людей, увлекался каждым новым человеком, и в то же время дружба навсегда кончалась там, где начинались принципиальные идейные разногласия. Тем и велика принципиальность Владимира Ильича, что она никогда не давалась ему легко; каждому принципиальному решению предшествовала огромная нервная работа, каждому было отдано максимальное напряжение воли, всех сил души.

«Личная привязанность к людям, — вспоминала Н. К. Крупская, — никогда не влияла на политическую позицию Владимира Ильича. Как он ни любил Плеханова или Мартова, он политически порвал с ними (политически порывая с человеком, он рвал с ним и лично, иначе не могло быть, когда вся жизнь была связана с политической борьбой), когда это нужно было для дела.

Но личная привязанность к людям делала для Владимира Ильича расколы неимоверно тяжелыми… Если бы Владимир Ильич не был таким страстным в своих привязанностях человеком, не надорвался бы он так рано. Политическая честность — в настоящем, глубоком смысле этого слова, — честность, которая заключается в умении в своих политических суждениях и действиях отрешиться от всяких личных симпатий и антипатий, не всякому присуща, и тем, у кого она есть, она дается не легко».

В случайно выпавший свободный вечер Ленин слушал «Аппассионату». Что навеяли Владимиру Ильичу мелодии Бетховена? Чарующая музыка и змеящаяся линия фронтов, зверства кулацких мятежей, беспризорники, поезда с мешочниками, письмо, отправленное Серго Орджоникидзе в Харьков: «Ради бога, принимайте *самые* энергичные и *революционные* меры для посылки ***хлеба, хлеба и хлеба!!!*** Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно. Ради бога! Ленин».

В тот вечер Ленин сказал:

— Ничего не знаю лучше «Apassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка… Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми…

Впервые читая в школе очерк Горького «В. И. Ленин», я сразу же запомнил, но так и не понял до конца выражение сормовского рабочего о том, что Владимиру Ильичу частенько приходилось «держать душу за крылья». Лишь спустя годы открылся смысл этой необычной фразы. Ленин был добр. Обстоятельства, идейная убежденность заставили Владимира Ильича быть и суровым, и непримиримым. И он бывал таким, превозмогая в себе доброту. Он превозмогал доброту. Это очень важно.

Есть и такие люди, кого лишь обстоятельства вынуждают быть добрыми. В силу этих обстоятельств они совершают добрые поступки, превозмогая в себе жестокость.

ПОГОВОРИМ О ДОБРОТЕ

Федора Петровича Соколова мы называли между собой добрым доктором. Правда, врачебной практикой он давно уже не занимался: много лет заведовал сектором Московского отдела здравоохранения. Чтобы составить представление об этом человеке, достаточно было провести несколько минут в его кабинете. И это первое впечатление оказывалось самым правильным: чем дольше ты знал Федора Петровича, тем больше оно укреплялось. Так однажды и окончательно складывается впечатление лишь о натурах естественных и открытых.

Кто только не заглядывал к нему в кабинет, с какими просьбами не обращались! Большинство этих просьб, очевидно, было не по адресу, они не входили в круг обязанностей доктора Соколова. Но Федор Петрович не видел в этом ничего предосудительного. С какой стати человек должен быть осведомлен о круге обязанностей доктора Соколова, человек же пришел за помощью! И Федор Петрович старался помочь каждому словом или делом, и всякий раз от чистой души. Он умел в бесконечной череде лиц всякий раз видеть человека и вникать в его заботу.

В последние годы Федор Петрович часто бывал усталым. Он много работал, редко отдыхал, у него было очень больное сердце. Но, как и прежде, радостью для него было то, что он помог людям. Личная радость доктора Соколова. Радость каждого дня. Он жил ею вчера, сегодня, хотел жить завтра. А когда для Федора Петровича не наступило завтра, люди увидели, как много успел он сделать. И если при мне произносят слова *государственный человек*, я всегда вспоминаю доктора Соколова.

На крутых поворотах истории меняются взгляды общества, иными становятся представления о добре и зле. Но сейчас мы говорим лишь о мере личной доброты, о черте характера, той склонности, которая может быть исчерпана обычным житейским определением: этот человек отзывчивый, а тот черствый. Я навсегда, например, запомнил женщину, имя которой мне так и не довелось узнать.

В первую самостоятельную поездку я отправился на стадион «Динамо». Прежде без взрослых дальше нашей улицы мне заглядывать не приходилось. Дома долго отговаривали, но потом сжалились и отпустили, начинив советами, условиями, предостережениями и меня и моих друзей. И, конечно же, я потерялся. Пока смотрел футбол, все было хорошо. И со стадиона выходили все вместе. А потом вдруг потерялись.

Деньги на метро и на трамвай у меня были припасены. Надо было доехать до площади Революции, пройти Красную площадь и на углу улицы Разина сесть на 39-й трамвай. Я купил билет, прокатился на эскалаторе и долго толкался в вестибюле, надеясь встретить ребят. Не встретил. А что, если они ждут меня наверху, бегают, ищут? Поднялся на улицу. Ребят нигде не было. И денег, чтобы купить еще один билет, тоже не было. Быстро темнело. Наступил вечер. Как идти домой, я не знал. Я стал просить у прохожих на дорогу. Не помню их, не помню их лиц. Они быстро мелькали передо мной.

Меня подозвала продавщица газированной воды. Налила стакан воды с сиропом. Очень хорошо помню, что с сиропом. А в другой стакан налила чистой воды — умыла. Видно, я с отчаяния пустил слезака. Дала деньги на дорогу. Я добрался до дому, когда родные, обзвонив все больницы, начали обращаться за справками в морги…

Мера личной доброты… Отец был всегда строг со мной. То немногое, что задержалось в воспоминаниях пятилетнего мальчишки, связано с моими провинностями.

Помню табакерку на его столе. Светлую табакерку из карельской березы. У меня был кукольный театр. И я таскал для кукол папиросы из табакерки. Отец стоит, около стола.

— Это ты берешь у меня папиросы?

Отец, очевидно, вообразил, что я начал курить. А я помню лишь, как мне было страшно признаться в содеянном. Отец настаивал…

Осталось в памяти утро, когда я услышал по радио сообщение об открытии первой очереди метро. Мы завтракали. Вернее, завтракали мама и папа, а я стоял около двери в углу. Скорей всего я оказался там потому, что плохо вел себя за столом. Я спросил:

— Папа, ты возьмешь меня на открытие метро?

— Прежде научись хорошо себя вести.

Мы не успели побывать с отцом в метро…

Но строгость отца не противоречила моим представлениям о нем. Он остался в памяти суровым, смелым и таинственным, с той особой жизнью, о которой можно прочесть лишь в книжке, да и то не во всякой.

Я придумал легенду, в которую верил долгие годы, верил наперекор всему: отец жив, он получил секретное задание и должен был объявить себя умершим. Он выполнит задание и вернется.

Воображение мое будоражили мандаты, которые хранились в жестяной коробке. «Предъявитель настоящего удостоверения

уполномочен при задержании кого-либо требовать полного содействия от всех представителей как военных, так и гражданских властей, а также от всякого гражданина. Пользоваться правом проезда в штабных, служебных и особых вагонах на пассажирских, воинских, товарных поездах и паровозах. Имеет право хранения и ношения всякого рода оружия».

С браунингом отец никогда не расставался, даже летом, даже на юге, — это была привычка, оставшаяся со времен работы в ЧК. В выходной день он любил чистить оружие. Начинал с любимого браунинга и кончал именным маузером. Много лет спустя, после смерти отца, в складках старого кресла, забитых пылью и табачной крошкой, я нашел оброненную им пулю.

Из воспоминаний об отце я придирчиво отбирал лишь то, что отвечало моим представлениям о нем — представлениям сугубо возвышенным и героическим. Таким героическим, что не оставалось места ни для чего обыденного, человеческого.

В бумагах отца я нашел тоненькую брошюру. На обложке стояла его фамилия и гриф «совершенно секретно». Это было «Руководство по массовым облавам и обыскам». Отец был председателем одесской ЧК. Я знал, что чекисты вынуждены были проводить расследования, аресты и расстрелы. Знал также, что именно тогда у отца началась скоротечная чахотка. Но я не хотел или не умел сопоставить одно с другим. Я не задумывался, почему именно тогда он занемог. Кстати, Дзержинский, узнав о болезни чекиста, послал из Москвы с нарочным ящик шпрот. Отец съел все до единой банки, выздоровел, но с тех пор не мог видеть шпроты.

Мера личной доброты… Однажды мама показала мне письмо, которое написал отец в день моего рождения. Я родился в Москве, а отец в это время был в Вологде.

«14.3.1930. Родная моя! Я не могу описать тревоги, которая охватила меня сегодня утром, когда, приехав с завода, я получил телеграмму о том, что ты в больнице. И я не знаю, с чем сравнить это радостное чувство, гордое и вообще какое-то странное чувство, которое я пережил с чудовищной быстротой, когда услышал по телефону, что все благополучно и что у меня есть сын, твой и мой сын! Должно быть, надо впервые стать отцом, чтобы пережить это. Никогда не думал, что это так может трогать, что это так может наполнить всего, что не поймешь — то ли хочется смеяться и прыгать, то ли плакать от какой-то смешной радости и умиления к тебе и моему сыну. У меня был, вероятно, очень легкомысленный вид, когда я брел с телефонной станции в свою гостиницу. Я смутно помню, что прохожие останавливались

в изумлении, так как я поймал себя на том, что на всю улицу смеялся и слезы текли по лицу и очкам, так что ничего не было видно. Только теперь могу тебе сказать, как я смертельно трусил, боясь, что с тобой может что-нибудь случиться. Я дошел до того, что последний месяц вскакивал по ночам, бредил и однажды насмерть напугал соседа…» — прочел я. Отец — и вдруг плакал. Это казалось невероятным.

В дневнике отца, времен первой мировой войны, меня привлекла одна страница, привлекла своей необычностью:

«20. IX.1914. Яблонов. Пока наш полк ничего не делает. Офицеры пьянствуют, бьют зеркала в ресторанах. Солдаты грабят мирных жителей.

27. IX.1914. Карпаты. Темная осенняя ночь за окном. Чужая квартира в чужой стране. Кругом разбросаны в беспорядке вещи — символ чужого интимного счастья, семейного уюта. Жил, страдал, радовался, чувствовал мощные порывы жизни или брел безропотно по пути своему кто-то неведомый, чужой человек, от которого остались только, как жалкая память, обломки мебели и разбросанная по углам безмолвная, не дающая ничего ветошь.

Зачем, по какому праву я здесь? Как смел я вчера, ища пристанища, взломать дверь чужого жилища? Как смел проникнуть в чужую тайну, бесстрастно перебирая вещи, будящие в другом неведомом уме лучшие чувства о семейном счастье? На столе, покрытом бумагой, испещренной математическими выкладками и мелькающим часто между ними одним только именем „Marie“, мерцает свеча.

Кто эта Marie? Молодая ли женщина с прекрасным, умным лицом, тихим движением глаз и спокойной улыбкой, ободряющая счастливого математика? Невинное ли дитя с лицом ангела, первое дитя счастливой семьи, залог ее счастья? Бездушная ли кокотка, будящая пьяные чувства, от которых душно становится в рабочем кабинете, которые прерывают строгий порядок чисел и которые выливаются в одно только слово: Marie? Не знаю. Чужой человек взял с собой ее портрет, не оставил ничего, кроме имени на столе: Marie.

Темная осенняя ночь за окном. Под порывом ветра слегка колеблется пламя свечи. В конце дома хлопает дверь. Уродливо темнеют углы комнаты, выступает силуэт хромоногого рояля, жалкого калеки с порванными струнами, с разбитой в щепы крышкой. Тоскливо в чужой квартире, в чужой стране. Страшно за себя и за всю дикую толпу вооруженных людей.

Темная осенняя ночь за окном. Хочется далеко в горы, хочется освежить горячую голову, хочется вздохнуть полной грудью. Душно…»

Меня обижало, что друзья отца чаще всего вспоминали о его внимании, доброте к людям. Мне казалось, они должны говорить о другом, каким бесстрашным и отважным был отец. Казалось до тех пор, пока не понял, что отец мой был добр. Он оставался таким, когда сражался в Одессе, и когда был одним из руководителей Всеукраинской чека, и когда, возглавив «Экспортлес», стал советским купцом, и когда мотался на сплаве по Вологодскому краю. Людям запомнилось, что он был добр, в этом заключена самая дорогая память о человеке. И когда я это понял, отец из книжного героя стал для меня прежде всего отцом.

ПОЗНАЙ СВОЕ ВРЕМЯ

В десятом классе меня судили. Нет, не было ни судьи, ни народных заседателей, ни скамьи подсудимого, не было и строгого: «Встать, суд идет!» Все было проще, а в чем-то страшнее.

Вечером за мной зашли двое. «Надо поговорить». — «О чем?» — «Пойдем поговорим». — «Мне некогда». — «Было бы лучше, если бы ты пошел с нами».

В комнате одного из приятелей собралась вся наша компания. Ждали меня, и, как только я вошел, все замолчали.

«Мы решили спросить тебя кое о чем и хотели, чтобы ты ответил».

Все началось с того, что на школьной сцене, той самой, сколоченной из горбыля, мы поставили пьесу Бориса Горбатова «Юность отцов». Пьеса о молодежи революции, о ребятах, которые собрались в городе, только что освобожденном от белых. Самому младшему из них, Ефимчику, пришла счастливая мысль провозгласить «Коммуну номер раз». Он так и написал на попавшемся под руку куске фанеры. Ребята собрались под одной крышей — под крышей коммуны. Пьеса о любви и смерти, о мужестве молодых и их мечте. Все было совершенно в характерах этих ребят, так совершенно, как бывает лишь давно минувшее, высвеченное из настоящего.

Нам хотелось, чтобы получился настоящий спектакль, и потому прежде всего мы забросили занятия. Репетировали, рисовали декорации, изобретали реквизит. В свободное время, а оно выдавалось лишь на уроках, листали под партой труды Станиславского, силясь понять, что такое перевоплощение и сквозное действие. Больше всего листал я, как режиссер спектакля, а потому был самым неуспевающим учеником в классе.

Не знаю, насколько нам удалось проникнуть во внутренний мир героев Горбатова, но постепенно они проникли в нас, и вскоре это дало о себе знать.

Спектакль, наверное, получился. Он понравился и школьникам, и учителям, и родителям. Позже в школу приехали артисты Театра имени Ленинского комсомола. Они посмотрели спектакль и сказали много хороших слов, польстили нашему самолюбию. Мы все собрались поступать в театральный институт.

Но нас объединили не только честолюбивые мечты. Нам казалось, что мы не можем жить, как прежде. У нас сложился коллектив, мы были так же молоды, как те коммунары.

Естественно, нам сразу же захотелось сколотить «Коммуну номер раз». Но у всех были матери, а у кого и отцы. В спектакле они не участвовали, переживаний наших не разделяли и категорически воспротивились стремлению детей уйти из дома. На все наши доводы у них был лишь один вопрос: «А зачем?»

Пусть не удалось собраться под одной крышей, пусть! Но никто не может помешать нам быть такими же, как те первые комсомольцы; нам казалось, что осталось сделать всего лишь шаг, чтобы слиться со своими героями, начать жить с такой же мерой романтической чистоты. Тяга к самоочищению, беспредельная требовательность к себе и другим все ярче разгоралась в нас. И я оказался первым, кто угодил на костер, который мы сами и разложили.

Каждый старался припомнить мои провинности, при всех открывал то, что мы говорили лишь с глазу на глаз.

От меня требовали ответа, почему я плохо учусь и в четверти у меня сплошные двойки (прежде на эту тему в нашей компании не говорили; беспокойство по поводу учебы было уделом педагогов и родителей), отчего я считаю себя создателем спектакля, зачем повышал голос на репетициях и каковы мои отношения с одной знакомой девочкой. Меня обвиняли во всем, в чем только можно было обвинять.

Обидны были даже не сами вопросы, а то, как они задавались. Здесь же собрались мои друзья! Еще вчера в моих поступках они не видели ничего из ряда вон выходящего, сами совершали нечто подобное. Но все это забыто. Сегодня они судьи, я — подсудимый.

На каждый вопрос ко мне у меня был готов вопрос к ним: «А когда мне было учить уроки?», «Разве не я режиссер спектакля?», «А что мне оставалось делать, когда вы не слушались на репетициях?» Мне все время хотелось сказать: «Сами-то хороши, на себя посмотрите». Хотелось встать и уйти. Но я не ушел.

Теперь я понимаю, что мои друзья были не во всем правы. Больше того, во многом они были несправедливы. Но тогда я не возражал. В моем сознании, как и в сознании моих друзей, произошло смещение времен: в 1949 году нам захотелось жить по воображаемым законам 1919.

Наши представления о законах 1919 года были относительны, мы не знали и не понимали толком той жизни. Мы составили схему. А схема, которая сложилась умозрительно, вне жизни,

даже если она была составлена во имя совершенствования человека, неминуемо обернется против него, против его естественности и достоинства.

И то, что еще вчера, по нашему общему согласию, казалось вполне допустимым, теперь вызывало безжалостное осуждение, осуждение всех, и мое в том числе. Словно в самый разгар второго тайма изменились правила игры. Теперь ты уже должен бить не по воротам противника, а по своим.

Много раз тяжело и горько вспоминал я унижения того вечера. Лишь в одном мне удалось сохранить чувство собственного достоинства: я так и не ответил на вопрос, какие у меня отношения с одной знакомой девочкой. Загнанный в угол, окруженный тишиной — все ждали моего ответа, — я и сам не понимал, отчего не хочу отвечать, не могу ответить. Я готов был упрекать себя, что не мог подняться до той искренности, которую ждут от меня друзья. Но я не ответил, и никто не мог меня заставить.

На следующий день я один возвращался из школы. А компания продолжала собираться, и каждый вечер требовали ответа от одного, другого, третьего. Все больше оказывалось нечистых, и все меньше оставалось чистых. Потом их совсем не осталось. Компания наша развалилась ровно на столько частей, сколько было в ней человек. Мы перестали здороваться и стали отворачиваться друг от друга. Последние месяцы учебы в школе и даже выпускной вечер я вспоминаю как самое тягостное время.

Мы вновь подружились, когда уже занимались в институтах. Видимся изредка и сейчас. Прошло время, казалось бы, можно и пошутить над тем, что было. Но шутить не хочется. Наши воспоминания обрываются на премьере спектакля «Юность отцов». Слишком велико было потрясение. Горечь прошла, но урок остался: нельзя переделывать себя по схеме, нельзя, живя в одном времени, втискивать в него приметы другого, давно минувшего.

Стараясь во всем подражать героям прошлых эпох, лишь в их примере черпая романтику и нормы поведения, ты, казалось бы, предан идеалам. Но если ты отрицаешь свое время, отворачиваешься от него, ты отрицаешь и практические результаты той борьбы, которую вели до тебя.

Предыдущие поколения боролись за то, чтобы человечество сделало шаг вперед, их вдохновляло будущее, а не прошлое. Они переживали трудности не из-за любви к ним и уж во всяком случае не за тем, чтобы их потомки начинали с той же отметки. У нашего времени свои испытания. И надо научиться не выдумывать жизнь, а действовать в той, которая тебя окружает.

ГИМН ПОЧЕМУЧКЕ

Помню пожилого журналиста, который очень громко говорил. Если его спрашивали: «Ты чего орешь?» — он отвечал не без гордости: «Привычка — вторая натура. Это я еще с Магнитки привык. Шумно у нас там было». С криком его приходилось мириться, хуже было другое: со времен первых пятилеток, строительства Магнитогорского комбината он не на йоту не сдвинулся ни в своем миропонимании, ни в мастерстве. Говорили, что когда-то он был «звонким» журналистом. Очевидно. Но в статьях его о нынешней работе промышленности, где восклицательных знаков было больше, чем слов, не удавалось обнаружить ни одной мысли.

Бывает, слышишь упрек: «Несколько лет назад человек говорил одно, а теперь думает другое». А стоит ли осуждать за это, если, конечно, человек стал думать иначе не потому, что захотел приспособиться, а изменил свои взгляды, увидел изменения в жизни. Ведь и корят его чаще всего те, кто этих изменений не поняли.

Мы гордимся молодыми строителями Комсомольска-на-Амуре. Они зимовали в палатках, страдали от цинги, бедствовали, они мужественно совершили свой подвиг. Но представьте себе, что в таких условиях, как тридцать пять лет назад, оказались бы сегодняшние строители. Разговор о подвиге был бы на руку лишь тем, кто не хочет заботиться о людях. О подвиге здесь рассуждать или потребовать ответ с того, кто обрек людей на неоправданные лишения? Виновный ответит, он будет снят с работы или даже осужден. Но разве сами строители не совершили подвиг при этом, работали, несмотря ни на что, и справились, построили? А так ли уж хорошо работать, несмотря ни на что? Подвига вне времени не существует. Если он не продиктован обстоятельствами, то превращается в свою противоположность — жертвенность. Давайте не торопиться с утверждением, что строители справились с трудностями. Коллектив спасовал перед тем, кто создал эти трудности, не сумел потребовать внимания к людям, постоять, за права и достоинства сегодняшнего советского рабочего.

У каждого нового поколения велик спрос на романтику. Но жизнь еще впереди, и поиск романтического, естественно, обращен к примерам минувшего. Между тем романтика всегда впереди, она там, где переделывается страна и люди. Она неистребима, как неистребима борьба нового со старым. Романтика серьезная и трудная, потому что борьба за новое

всегда трудна, во все времена и эпохи.

Среди строителей Комсомольска-на-Амуре не все были энтузиастами. Были и те, кто не понял, а потому и не разделил порыв молодежи. В те времена их называли «идейно отсталыми». Если человек утверждает, что время его бедно на романтику, стоит ли пенять на время? Может быть, на себя? А что, если сам ты еще не дотянулся до того, чтобы понять романтику своего времени? Кажется, в прошлые эпохи она была под рукой, а теперь пойди найди. Так ты же живешь не вчера, а сегодня, и сегодня тебе предстоит искать ее так же, как ее искали вчера.

Неутомимый мальчуган, которого за повышенную любознательность удостоили титула Почемучки, был не такой уж простак. У него на языке без конца вертелся вопрос: отчего да почему? И он выгодно отличался от тех, кто лишь видит жизнь, но не стремится объяснить ее, кого поражает следствие и кто никак не может докопаться до первопричины.

Оглянись вокруг: жизнь — это пестрая ярмарка фактов. Каждый сам по себе, и у каждого свой оттенок. Все они относятся к твоему времени, но не объясняют, а лишь характеризуют его так или иначе. Как же познать свое время, если не ответить на вопрос «почему»!

Вчера ты заметил хорошее, сегодня — плохое, завтра — и то и другое. Вчера ты радовался, сегодня огорчился, а назавтра будешь совсем сбит с толку; по каким же приметам судить о своем времени? Прежде чем судить, ответь на вопрос: «Почему?» Почему живо плохое и что рождает хорошее? Что осталось в наследство от прошлого, что характерно для нашего сегодня и в чем проступает день завтрашний?

Ты решил бороться с недостатками — благородная миссия. Увидел недостаток — исправил, еще увидел — еще исправил. Но ты же не по грибы пошел: увидел — сорвал. В жизни еще много плохого, и ты готов уже склонить голову перед недостатками, они сильнее тебя. Почему? То, с чем ты до сих пор боролся, было следствием. Тебе не удалось подрезать корень первопричины, и чертополох растет, как прежде.

Ты клеймишь нерадивость и воздаешь должное трудолюбию, ты обличаешь двоедушие и восторгаешься честностью. Твои оценки категоричны: один человек просто хороший, а другой — просто плохой. Надо, чтобы повсюду были хорошие люди, и тогда все будет в полном порядке. Очень просто, пока не задумываешься: а откуда берутся плохие? Поначалу все, наверное, хотят быть хорошими, да не получается. Почему? Почему одному удается, а другому нет? И тебя заинтересуют обстоятельства, которые определяют поступки людей. И ты

станешь терпимее к людям и станешь бороться с обстоятельствами, которые порождают дурные поступки.

Вот как рассказывал Горький об одной из встреч с Владимиром Ильичем:

«Очень ярко вспомнился визит мой в Горки, летом, кажется, 20-го г.; жил я в то время вне политики, по уши в „быту“ и жаловался В. И. на засилие мелочей жизни. Говорил, между прочим, о том, что, разбирая деревянные дома на топливо, ленинградские рабочие ломают рамы, бьют стекла, зря портят кровельное железо, а у них в домах — крыши текут, окна забиты фанерой и т. д. Возмущала меня низкая оценка рабочими продуктов своего же труда. „Вы, В. И., думаете широкими планами, до Вас эти мелочи не доходят“. Он — промолчал, расхаживая по террасе, а я — упрекнул себя: напрасно надоедаю пустяками. А после чаю пошли мы с ним гулять, и он сказал мне: „Напрасно думаете, что я не придаю значения мелочам, да и не мелочь это — отмеченная Вами недооценка труда, нет, конечно, не мелочь: мы — бедные люди и должны понимать цену каждого полена и гроша. Разрушено — много, надобно очень беречь все то, что осталось, это необходимо для восстановления хозяйства. Но — как обвинишь рабочего за то, что он еще (не) осознал, что он уже хозяин всего, что есть? Сознание это явится — не скоро, и может явиться только у социалиста“. Разумеется, я воспроизвожу его слова не буквально, — продолжает Горький, — а — по смыслу. Говорил он на эту тему весьма долго, и я был изумлен тем, как много он видит „мелочей“ и как поразительно просто мысль его восходит от ничтожных бытовых явлений к широчайшим обобщениям. Эта его способность, поразительно тонко разработанная, всегда изумляла меня. Не знаю человека, у которого анализ и синтез работали бы так гармонично».

Сто тысяч «почему» возникает перед каждым поколением, и в каждом из нас живет «почемучка». Каждое поколение стремится подняться от способности заметить к умению понять. Понять закономерности своего времени. Только тогда ты сможешь трезво взглянуть на то, что ему предшествовало, и не станешь противиться тому, что закономерно идет ему на смену.

…Я запомнил первую ночь 1954 года. У Спасских ворот, всегда пустынных, выросла многоголосая очередь. Кремль, таинственный и загадочный, распахнул ворота. Прежде мы не задавали себе вопроса, почему он закрыт наглухо, казалось, что так заведено от века. В институте на нашем курсе была лишь одна студентка, которой довелось когда-то побывать в Оружейной палате. А теперь нас были тысячи. И шли мы на молодежный бал.

Мы миновали Спасские ворота, Ивановскую площадь.

Невольно чеканили шаг по брусчатке мостовой и силились представить себе тех, кто здесь работал, жил, прогуливался. Вошли в Большой Кремлевский дворец и были удивлены: там оказался самый обычный гардероб и, как всюду, выдавали жестяные номерки.

Прошлой зимой Вовка катался на салазках по крутому спуску Тайницкого сада точно так же, как катается на фанерке у себя во дворе с крыши котельной. Он бегал по Кремлю, размахивая новогодним подарком в бумажном мешочке. Для него все это было просто веселой ёлкой. Ему не переживать тех чувств, которые вызвало во мне открытие Кремля. Его ждут свои открытия.

А ТЕПЕРЬ О ТОМ, ЧТО НЕТЛЕННО

Вовка был еще совсем маленьким, когда вернулся с гулянья, рассказывал о чем-то и в подтверждение своих слов сказал:

— Честное ленинское всех вождей!

Сказал точно так, как говорили когда-то мы. Сколько мальчишек с тех пор отпустили бороды, а у сына была та же интонация, та же непоколебимая уверенность, что, услышав эту клятву, уже нельзя сомневаться.

В другой раз он встретил меня рассказом о фильме «Остров сокровищ».

— На острове был клад, его называли сокровищем. Спрятанный, в общем, зарытый. Его хотели захватить, но девушка, которая в парике, помешала. Девушка была наша, а те — фашисты. Только было это в старину.

Вовка напомнил мне игры нашего детства, когда даже герои Дюма делились на «красных» и «белых»: мушкетеры — «красные», гвардейцы — «белые». В лексиконе Вовки «белые» преобразовались в фашистов, а «красные» стали просто нашими. Если бы знать, что будет символизировать добро и зло для сына, моего сына, можно было бы предугадать многое.

В нашей памяти с самого раннего детства жили рассказы взрослых о революции. Все мы мечтали сбежать на фронт и выскакивали из двора, лишь появлялся на улице человек с орденом на груди. Мы были мальчишками, мы озорничали и шалопайничали, но наши идеалы всегда оставались идеалами революции. То, что взрослые называли классовым самосознанием, стало для нас естественным представлением о добре и зле.

Удивительно, но даже в наших самых отчаянных проказах неожиданно проявлялись воспринятые от взрослых понятия борьбы и солидарности.

Было это во время войны. Жили мы в пионерском лагере, Кормили нас худо. Порции были маленькими, а о «добавках» и мечтать не приходилось. В ответ на наши сетования вожатая отряда Шурочка, розовощекая девица с белокурой косой, говорила:

— Вы голодны оттого, что плохо прожевываете пищу. Надо есть не спеша. Не торопитесь, пережевывайте хорошо пищу, тогда и будете сыты. А то как вошли в столовую, так и набросились, да еще галдите при этом.

Мы не верили Шурочке. Кому-кому, а нам-то уж было доподлинно известно, какие сумки каждый вечер утаскивает повар, сколько гостей приезжает к начальнику лагеря и что за

пиршества закатываются всякий раз, лишь появляется на горизонте очередная комиссия. Нас не увлекала перспектива хорошо прожевывать пищу. Мы решили объявить голодовку.

Голодовка! Откуда могла появиться сама мысль о ней, как могла возникнуть такая форма протеста? Она пришла из книг, из кинофильмов о революции. По ночам мы рассказывали друг другу все, что знали о голодовках в тюрьмах царской России и за рубежом. Спорили, сколько времени человек может прожить без пищи и почему-то даже без воды. Обсуждали детали и сроки, называли имена тех, в ком сомневались, кто может подвести. Вожатые и предположить не могли, чем мы заняты.

Наконец наступило то утро, когда наш старший отряд дисциплинированно вошел в столовую. Никто не галдел. Казалось, что мы смирились и вот-вот начнем хорошо прожевывать пищу.

— Добавки будут? — спросил тот, кому это было поручено.

— Нет, — ответили, как всегда.

Мы развернулись и так же, строем, ушли из столовой. И, тут же почувствовав, что нам вообще море по колено, отправились без вожатой на озеро купаться.

Шурочка пыталась нас задержать. Она металась в дверях, растопырив руки, но ухватила лишь одного мальчишку. Его силком посадили за стол. Он плакал, но ел кашу. Ему предложили добавку, он согласился.

До обеда мы просидели на берегу. Купаться на пустой желудок было неохота. Мы вернулись в лагерь как раз к тому времени, когда приехала комиссия. Ей предстояло выявить зачинщиков голодовки. Мы ждали, пока нас вызовут: комиссия закусывала с дороги.

В тот день мы потеряли завтрак и одного мальчишку.

Чувствовать время — это прекрасно. Но движение времени ощущает и тот, кто ни во что не верит. Именно движение убедило его, что все в этом мире изменчиво и потому ничто не может быть свято. Такова исходная позиция циника. Тот парень с тарелкой каши не вызвал бы у него осуждения: в конце концов и завтрак свой получил, и перед комиссией предстал добродетельным.

Менять убеждения согласно малейшим колебаниям времени — это тоже следовать за его движением. На каждом повороте вдохновенно славить сегодня и самозабвенно топтать все, что было прежде. Так поступает приспособленец. Он тоже не осудит того парня: дали указание есть кашу — ешь. Только вот плакал напрасно, надо было улыбаться.

Люди эти поспешают за временем, преследуя свои эгоистические цели покоя, удобств, процветания.

Время подчиняется убежденным. Человек и осмысливает его затем, чтобы сложить свои убеждения. Верность передовым идеям, умение бороться за них, преданность Родине и народу, личная честность, принципиальность, скромность — все эти качества испокон века были лучшими качествами гражданина. Мы знаем, как ярко воплотились эти замечательные качества в личности Владимира Ильича. Между тем «понять Ильича как человека — значит глубже, лучше понять, что такое строительство социализма, значит почувствовать облик человека социалистического строя», говорила Н. К. Крупская.

Те черты, которыми всегда гордилось человечество, стали нравственными идеалами социализма, той партии, того революционного движения, которые возглавил Ленин. История не знала, очевидно, другого вождя, чей личный облик настолько совпадал бы с идеалами движения, возглавленного им.

Наши нравственные идеалы нетленны. Они объединяют и тех, кто первыми вышел на революционный путь, и тех, кто сознательно стремится продолжить их борьбу сегодня.

Перечитывая письма отца, я понимаю: то, чем он был занят изо дня в день, ушло в прошлое.

Февраль, 1930 год. Письмо к матери. «Напишу всего несколько слов, так как первый раз в жизни перо валится из рук от страшной нечеловеческой усталости. Час тому назад приехал из лесу. За неделю спал в общей сложности не более 8–10 часов. Голова трещит до сих пор от авиационного мотора аэросаней, на которых я мотался. В заключение машина испортилась, и я вчера утром бросил ее за 300 верст от Вологды. Эти триста верст сделал лошадьми за тридцать один час, летя сломя голову на перекладных от одного лесоучастка до другого, где уже ждала запряжка и где задерживался на 10–15 минут. Сменил семь пар лошадей и в результате опоздал к поезду на Архангельск».

Для меня навсегда останется примером воля отца, его не знающая преград устремленность сделать все, что от него зависит, одолеть, наладить, ускорить, решить.

Еще одно письмо к матери.

«Рубка идет неплохо, но вывозка из лесу — омерзительно, из-за отсутствия морозов. Ты читала, вероятно, в газетах, что мне объявили выговор от Совнаркома. Я принял его спокойно, как удар по натянутому мускулу. Но дело буду делать и добьюсь своего, если бы рушилась кругом земля, если бы истекал кровью, если бы знал, что завтра умру. После всех трудностей и неприятностей не уйду отсюда, пока не добьюсь перелома. Не может быть, ерунда, что я не справлюсь с этим узлом. Если раньше была апатия, желание уйти, отдохнуть, то сейчас этого

нет. Я втравился в борьбу, в которой или выйду победителем, или загоню себя…».

Я разделяю отношение к жизни моего отца-коммуниста. Я хотел бы поступать так же, как поступал он. В 1934 году отец писал другу из Свердловска в Москву:

«Ты упрекаешь меня за то, что я отказываюсь от работы в Америке и собираюсь в Челябинск. Пишешь, что последнее для меня — течение вниз. Ты не прав, во всяком случае, не совсем прав. Прежде всего потому, что в стране, которая переделывается вся, на огромном протяжении, переделываются и люди, их взаимоотношения. Изменяется коренным образом и оценка важности той или другой работы. Поездка в Америку сейчас должна расцениваться очень высоко, так как это самый важный участок наших международных связей. Но ведь и работа в Челябинске тоже требует доверия к политическому и практическому опыту. Пойми, что понятие сейчас о работе в центре и в так называемой провинции сильно изменилось. Можно ли назвать провинцией область, в которой уже создан крупнейший в мире тракторный завод и будет во второй пятилетке создано полтора десятка мировых гигантов металлургии, автостроения, алюминия и т. д. и т. п.

Старое, дореволюционное буржуазное понятие „карьера“ отмирает. Понятие о „советской карьере“ несколько иное. Оно определяется не тем, какие платья шьют женам и какие костюмы — себе, а гордым сознанием своей пригодности для большой и важной работы, доверием партии, государства и возможностью с большой, а главное — трудной работой справиться. И меньшее гораздо значение имеют материальные, личные, бытовые условия…

Совершенно ли интересна для меня работа в Челябинске? Вряд ли. На ту работу, которую я бы делал с полным интересом, меня не пускают. Это небольшая фабрика или строительство, которое я мог бы хорошо поставить и получить удовлетворение. Говорят, что сейчас так еще не хватает людей, что я должен делать, может быть, хуже, но больше по объему…

Доказывая материальные преимущества работы в Америке, ты ссылаешься на пример семьи Б., пишешь, что им можно позавидовать. Зависть вообще одно из самых скверных чувств человечества. Я никогда не стремился быть „хорошим“, но зависть совершенно исключил из обихода своей жизни хотя бы потому, что ничто так не портит настроение, цвет лица и пищеварение, как зависть. Что же касается вожделенных благ, которые свалились на Б. после поездки в Америку, могу сказать тривиальную фразу: „Не в этом счастье“.»

Победившая революция сделала отца хозяином своей страны. Он решал свою судьбу вместе с ее судьбами. В этом были принципы и идеалы его поколения. У сыновей и внуков та же нравственность, та же мораль.

ЧУВСТВО ХОЗЯИНА

Измочаленные жарой, круговертью толпы, ревущей лавиной автомобилей, звоном и лязганьем трамваев, пробивающих себе дорогу, мы достигли наконец гостиницы.

Лифт начал плавный подъем, и затихли шумы города. В номере царила полная тишина. Наглухо закрытые окна и жалюзи, сомкнутые тяжелые драпировки не пропускали ни единого звука. Невидимые лампы заливали комнату дневным светом. Легко дышалось, и было свежо — в углу бесшумно работал «кондишен». Семь шагов в любую сторону. Все удивительно удобно, подавляюще продуманно. Клиенту незачем рвать тесьму жалюзи, распахивать раму: есть дневной свет и свежий воздух. Здесь можно провести весь свой век, не испытав необходимости пробиться сквозь толщу стен, семь шагов в любую сторону, восьмой ни к чему… Для удовлетворения любых потребностей нужно лишь прикоснуться к кнопке звонка.

Однажды я уже читал о таком мире, вместе с героями романа переживал бессмысленность их существования. Читал у Станислава Лема — «Возвращение со звезд». Благополучный мир, не испытывающий потрясений. Предупредительным исполнением желаний он подавляет любое желание. Общество, обслуживаемое безотказными роботами, искусственно устранившее из своей жизни любые столкновения, даже автомобильные, и расплатившееся за все это лучшими человеческими качествами: мужеством, благородством, мечтой. Будущее, рожденное воображением фантаста, вдруг предстало передо мной жуткой микромоделью в номере фешенебельной итальянской гостиницы.

Я распахнул окно, и в комнату с ревом ворвалась реальная жизнь.

Перед окном простиралось нескончаемое множество черепичных крыш. Кое-где в крышах были сделаны застекленные люки — луч света в мансарду. Почти рядом со мной сидел человек, опустив ноги в люк. На крыше была укреплена деревянная доска. На ней стояли горшки с цветами. Человек смотрел сквозь цветы на море. Курил, прижигая губы сигаретой. Я видел его вчера и увидел сегодня. Понимал, что увижу через день, через месяц и через год, если останусь здесь. Здесь его черепичные владения, здесь его планета. У него нет места на земле. Он достигнет ее, когда умрет.

В Италии мы посвятили несколько часов школе профессионального ученичества. Нас кормили обедом, который подают ученикам, хороший обед. Нам показывали учебные

пособия, которыми снабжают учащихся. Снабжают в достатке. Нас водили по мастерским, где ребята проходят практику. Мастерским можно позавидовать. Но мы никак не могли составить представление, каковы же ученики в этой школе.

Прежде, когда я отводил Вовку по утрам в школу, он, вместо того чтобы раздеться и бежать в класс, задерживался в вестибюле. И я сердился на него: стоит и рассматривает развешанные на стендах рисунки своих товарищей. В школе, где мы были, не выпускаются ученические газеты, нет художественной самодеятельности, не разрешаются какие-либо формы организации учащихся. Поощряется только спорт. В зависимости от будущей профессии: токарю нужны одни мускулы, слесарю — другие. Отчужденность и индивидуализм закладываются с детства. Научно разработанная педагогика формирует рабочего, у которого должно быть исключено стремление к общественной деятельности, к организации.

Человек отчужден от экономики, управления, от политической жизни. Все меньше остается связей между людьми, тех связей, из которых и складывается общество. Капитализм противоречит исторически заданному стремлению человека к коллективу.

Стремление человека к коллективу… Мы ощущаем его с детства. Сложившиеся за полстолетия традиции, весь образ мысли влекут к активности в обществе.

Путь к гражданину не прост. Но самый верный и кратчайший — воспитание чувства хозяина. Оно рождается через сопричастность к жизни школы, города, всей страны.

В пятом классе я отбывал в школе лишь положенные часы (и то не всегда: в «Ударнике» шел фильм «Новые похождения бравого солдата Швейка» и я смотрел его восемнадцать раз, разумеется, на утренних сеансах). Все, что было мне интересно, находилось за стенами школы.

Среди прочих развлечений было и такое. Дома у нас случайно оказался узкопленочный киноаппарат. Я разыскал дорогу в контору кинопроката и получал там пленки допотопных фильмов. На окнах еще были целы драпировки из плотной черной бумаги — военное затемнение, — и мы устраивали с ребятами киносеансы на дому.

Об этом узнала пионервожатая Нина Владимировна Снегирева. Я был назначен школьным киномехаником. Вернее, утвержден со всеми формальностями.

Киносеансы перекочевали в школу, расширился круг моих зрителей, я волновался — не перепутать бы порядок частей, не порвалась бы пленка. Был я потом и вожатым, и членом комитета

комсомола, и редактором школьной газеты, и председателем комсомольского клуба. Но все началось с должности киномеханика, которую специально для меня придумала Нина Владимировна.

Вовка играет с бабушкой в Зайца и Бобра. Этим летом сын был в пионерском лагере, и бабушка писала ему одно письмо от себя, другое — от Бобра. И Вовка ни разу не забыл передать привет Бобру.

Я не мог припомнить, давно ли началась эта игра, и спросил сына.

— Давно, всю мою жизнь, — ответил Вовка.

Игра начинается всякий раз вопросом: «Ну как живешь, Бобер?» Заяц и Бобер живут в лесу. Заяц — разведчик. Он все время отправляется в командировки, успел уже весь свет обскакать. Даже в космосе побывал, естественно, зайцем. Вместе с Бобром он построил в лесу кооператив. В кооперативе звери получают продукты. Звери разные, и продукты нужны каждому на его вкус. Хлопотливо. А еще у Зайца есть враги — Волк и Лиса. От Бобра же особой помощи не жди. Он и стар, и жадноват, а ко всему прочему еще и растяпа: пустил Лису в комнату Зайца, а там хранятся секретные документы. Недавно Лиса выкинула такой номер: сделала подкоп и обворовала кооператив. Да так ловко, что никаких следов не найдешь. Но Заяц же разведчик…

Вовка был совсем маленьким, и эта игра меня не удивляла. Теперь он подрос и все равно, как улучит минуту, тянет бабушку за руку: «Пойдем играть в З. Б.».

Я спросил Вовку:

— Отчего ты так любишь эту игру?

Он посмотрел на меня:

— А почему ты любишь творог?

— Он вкусный и полезный.

— А я играю потому, что мне интересно.

Пришлось самому искать объяснения. В школе, дома да и на дворе от Вовки чаще всего не требуется самостоятельности. Он редко оказывается хозяином положения — делает то, что скажут. А в приключениях Зайца он творец. Коварный Волк и Лиса, растяпа Бобер требуют от Зайца находчивости, ловкости, смекалки. И это интересно. Даже просто фантазировать все равно интересно.

Еще интереснее жизнь, а не сказка. Но действовать в жизни сыну удается ой как редко!

Раза два в год объявляется сбор макулатуры. Сына удержать нельзя, из дома выносится все, что имеет хоть отдаленное отношение к бумаге. Я умоляю Вовку пощадить хоть те из моих

рукописей, которые не опубликованы.

Тюки макулатуры свалены в сарай, и все на этом кончается. Вовка лишь исполнитель — исполнитель формального поручения. И естественно, ему не приходит в голову, что бумага представляет ценность не только в дни сбора макулатуры. Он по-прежнему, лишь поставит кляксу, хватает новую тетрадку. И как это он не догадался до сих пор сдавать в макулатуру чистые тетради…

Мне снова хочется вернуться к Свердловскому[5] райкому комсомола, к апрелю 1954 года.

У дверей райкома дежурил член бюро Андрей, пальто внакидку, шапка в кармане. Тем, кто подходил, он говорил почему-то шепотом и очень значительно:

— Сбор в райкоме партии.

Чуть вечерело. Теплый день подсушил тротуары, лишь из дворов бежали ручейки, унося осевшие сугробы. Весне всегда сопутствует чувство нового, тогда оно было особенно глубоким. Мы связывали это новое с жизнью страны, каждого из нас.

Райком партии — особняк на улице Чехова с полукруглым двором. Сюда, наверное, было славно заезжать цугом[6]. Сейчас здесь, приткнувшись одна к другой, стояли крытые милицейские машины. Удивленно посматривая на них, комсомольцы входили в подъезд, поднимались в зал заседаний.

С некоторых пор на улице Горького обосновались хулиганы. Беспокойств доставляли они много. Мы думали: как поступить? И тогда впервые родились непривычные для нашего поколения словосочетания — комсомольский патруль, штаб комсомольской охраны района.

Мы долго спорили на бюро райкома:

— Так они и будут ходить по улицам?

— Встретится хулиган — задержат.

— А кто нам дал право задерживать?

— Нам права не нужны. Задержим — и все тут.

Это, кажется, сказал Андрей.

Но вот решение принято. Человек сорок ребят сидят в зале. Неожиданный вызов в вечерний час, сбор в райкоме партии — все настраивало на серьезный лад. Штаб решено было обосновать в 50-м отделении милиции на Пушкинской улице. Начальник отделения Егор Павлович Бугримов напутствовал комсомольцев. Попросил слово Андрей, он говорил о своевременности решения и о том, что комсомол не пожалеет сил.

До улицы Горького было рукой подать, но ребята расселись по машинам: пусть видят все, что каждый вечер в назначенный час появляются машины с комсомольским патрулем.

Первым в штаб привели подвыпившего командировочного. Он буянил в очереди у ресторана.

Пошли проверять посты. Ребята уже свыклись с жизнью улицы, ходили тройками и строго следили за порядком. Зато в штабе нас ждал насупленный дежурный. Перед ним посреди комнаты сидел взлохмаченный юнец в модной двухцветной куртке. Вздрагивая от икоты, он бубнил:

— Хватают здесь разные… Еще прощения попросите.

Пьяный школьник громко назвал свою фамилию. Фамилия была известная. Дежурный пошел к телефону — вызвать отца.

Трубку взял помощник:

— Хорошо, я доложу Федору Васильевичу.

Вскоре в штабе появился человек с папкой. Бросил с порога: «Кто здесь старший?» — и, не дожидаясь ответа, помахал удостоверением с золотым тиснением герба.

— Я помощник Федора Васильевича. Он занят. — И обращаясь на «вы» к мальчишке: — Поедемте.

Дежурный по штабу, слесарь тормозного завода, недавний ремесленник, сказал решительно:

— Сюда вызывали отца, сына отпустим только с ним…

Как вести себя, Федор Васильевич, очевидно, обдумал в дороге. Переступив порог, он набросился на сына. Дежурный остановил его:

— Раньше надо было воспитывать.

Федор Васильевич резко обернулся. С его губ готово было сорваться что-нибудь вроде классического: «Учить меня вздумал», но не сорвалось. Тогда заговорил дежурный.

Еще пятнадцать минут назад Федор Васильевич решал судьбы вот таких же пареньков-слесарей тысячами, по числу новостроек. А теперь он молчал. И наконец:

— Я сам был в комсомоле. Вы правы, товарищ.

Прислонившись к косяку, как музыку, слушал речь комсомольца начальник отделения Бугримов, слушал и я. Слушал и человек, которого годы службы так далеко унесли от всех нас. Быть может, сейчас, впервые за много лет, он понял, что спросить с него могут не только по звонку «сверху», и придется отвечать…

В жизни все поразительно взвешено. Читая заметки ученых о природе, мы не перестаем удивляться ее скрытым от нас взаимосвязям. Но и в жизни общества, каждого коллектива есть свои закономерности. Одно связано с другим, действие рождает противодействие. И за каждый необдуманный шаг приходится расплачиваться самыми неожиданными превращениями. Казалось бы, вполне допустимый компромисс, самый незначительный разлад между целью и средствами ее достижения, а результат

ошеломляющий, противоположный тому, которого ты добивался. Вот и с нашими комсомольскими патрулями не все обошлось благополучно: рядом с хорошим завязалось плохое.

Всё новые и новые комсомольцы приходили на дежурства. А вместе с этим появились ребята, которые каждый вечер сами, без вызова, наведывались в штаб, просили разрешения подежурить. Потом все тот же Андрей предложил создать из этих ребят постоянную оперативную группу. Он доказывал, что только такая группа сможет по-настоящему помочь работникам милиции. Андрей и стал ее начальником.

Первый раз мы задумались над работой Андрея, когда услышали мимоходом, как разговаривал он с задержанным подростком.

— Почему вы меня задержали?

— Взяли и задержали, тебя спросить забыли.

Помните, нечто подобное Андрей говорил и на бюро, когда мы принимали решение о комсомольских патрулях. Но теперь в этом ответе была та наглость сильного, то беззаконие, которое не может не оскорбить человека, даже очень провинившегося.

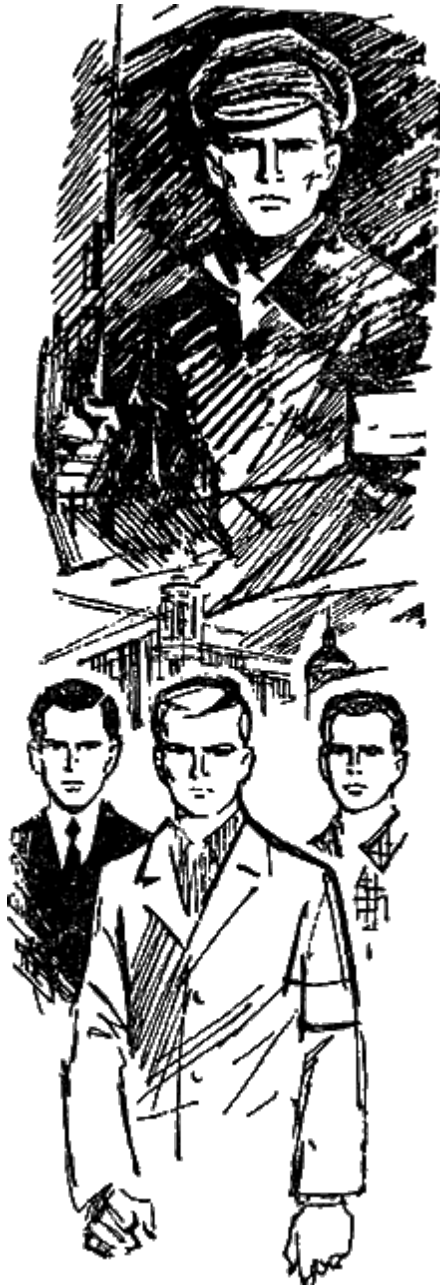
Задумались мы, признаться, слишком поздно. То, ради чего создавались патрули, давно уже было забыто ребятами из оперативной группы. Комсомольцы каждый вечер открыто выходили на улицу Горького. А для этих главным стала таинственность. Они избирали себе жертву и следили за ней. Законов для них не существовало, и они подслушивали под дверями, подсматривали в окна, при случае копались в чужих вещах. Сами этого не заметив, ребята превратились в некую полицию нравов, только на общественных началах.

Когда Андрей пришел к нам в штаб в последний раз, он так и не понял, в чем его винят.

— Мы с хулиганьем боролись. За это нам спасибо надо сказать. А какими средствами — это уже чистоплюйство.

Трудно было объяснить ему, что стиляги с улицы Горького и те вызывали у нас меньший протест, чем парни из его оперативной группы.

Новое оттого и называется новым, что никак не обезопасишь его от промахов и ошибок. Был горький урок с оперативной группой. Но новое осталось: сотни комсомольцев стали искренними защитниками порядка. В этом суть.



…С того первого дежурства, о котором я рассказал, мы возвращались на рассвете. Мы шли по Москве. Сколько раз ходили мы по ночному городу! А вот так, хозяевами, почувствовавшими свою силу, шли впервые. И, как назло, не попадалось прохожего, который спросил бы:

«Откуда вы, ребята, в такой час?»

Очень хотелось ответить:

«Сменились. Несли охрану района…»

Нами владели такие же чувства, как и комсомольцами девятнадцатого года. Помните Ефимчика из «Юности отцов»? Ефимчика, который написал мелом на куске фанеры: «Коммуна номер раз!» И поставил восклицательный знак.

ПРОГУЛКА В МИНУВШЕЕ

У Вовки болит ухо, а у меня не ладится работа.

Вообще-то ухо у Вовки уже не болит. Но врач сказал, что в школу он пойдет в понедельник, хотя сегодня всего лишь пятница. Вовка откровенно рад этому.

А мне радоваться нечему. У меня не ладится работа. То, о чем я хочу рассказать в этой последней главе, о мальчишках двадцатых годов, о первых пионерах, мне никак не удается соотнести с Вовкой. А зачем, собственно говоря, связывать с ним? Попробуй-ка втиснуть нынешнего парня во времена, которые давным-давно стали историей! Втиснуть трудно, но без Вовки, без его отношения минувшее останется минувшим, оно никак не оживет. И карточки, которые пылятся у меня в столе, — я выписал на них когда-то все, что удалось узнать о первых пионерах — остаются просто листками бумаги. Я перемешиваю и тасую их, раскладываю то сяк, то эдак, а они все равно не соединяются: как были, так и есть — разрозненные эпизоды. И не находится слов, и нет мыслей, чтобы связать все это в узел тугой и современный. Непременно современный. Потому что, хотите вы того или нет, былое оживает лишь тогда, когда оно спроектировано в сегодня.

Работа не ладится, и я говорю сыну:

— Слушай, Вовка, хватит тебе играть в Зайца и Бобра, давай поиграем во что-нибудь другое.

— А во что?

— Давай начнем играть в первых пионеров.

— Согласен.

СИНИЕ ГАЛСТУКИ

Мы едем на улицу Воровского. Игра начинается, как только выходим из дома. Я задаю сыну вопросы и жду ответа.

— Ты хоть что-нибудь знаешь о первых пионерах?

— Почти ничего, совсем немного… Это были дети рабочих и крестьян. Они хотели бороться с этими, как их… сейчас вспомню слово…

— С бойскаутами?

— Да, со скаутами. Пионеры объединились, чтобы бить их.

— Почему бить?

— А как же! Скауты были сынками богатых. Они ненавидели коммунистов… А еще они верили в бога. Не так, скажешь?

— Не совсем.

…Молодые люди с синими галстуками на шее подчинялись своему уставу: «Скаутизм готовит из молодых людей и девиц честных, трезвых, попирающих эгоизм, ласковых, послушных, мягкосердечных, преданных богу, родине и начальству людей, нужных для прогресса нации…» Девиз скаутов: «Будь верен богу и родине».

Для ребят двадцатых годов этот девиз был совсем не подходящим. Ребята двадцатых годов думали иначе, вот как они писали: «Нас пугают адом, наказанием божьим. Самым большим наказанием мы считаем то, что у нас есть еще попы, что у нас есть еще люди, верующие в рай и ад. Мы сказками считаем запугивание, будто мы вечно будем гореть и не сгорать, будем будто скрежетать зубами, которых у нас уже давно не будет. Мы знаем, что рай, то есть счастливую жизнь, можно создать на земле».

Вступающий в скауты клялся: «Подражать покровителю разведчиков — святому Георгию; поражать зло в мире и прежде всего — зло дракона в самом себе; носить бога в сердце»..

Ты вперед нас ведешь,
О Георгий святой,
И отраду даешь
В этой жизни скупой… —

декламировали они и распевали свои стихи.

И все-таки «бить скаутов», как думает Вовка, не было задачей. С победой революции судьба этого движения оказалась предрешенной. Но еще несколько лет скауты боролись за свое

существование.

В Орле расположилось центральное скаутинформбюро. Основатель скаутского движения английский генерал Баден-Поуэл писал в Орел: «Вижу, тяжелый период для вас прошел. Теперь нужно приспосабливаться к местным условиям, сохранить и расширить организацию. Внимательно слежу за вашей работой».

Собравшись в 1922 году на свой пятый съезд, комсомольцы решили выступить против буржуазных организаций молодежи, в противовес им «создать свои группы рабочих и крестьянских детей». Не громить, а именно создать в противовес.

К новому детскому движению комсомольцы готовы были привлечь скаутмастеров — руководителей отрядов. Но скаутмастера стояли на своем:

«Не сдавать позиции комсомолу. Таскать каштаны из огня для других, для РКСМ, недостойно истинного скаутинга. Нам предлагают создать союзы юных пионеров из детей рабочих при РКСМ. Но у нас ни фактически, ни официально нет слова „при“. Мы создаем отдельное движение».

Впрочем, не все скаутмастера думали одинаково. Восемнадцать из них опубликовали письмо. Они доказывали, что юные пионеры — единственно приемлемая организация. Они призывали всех скаутмастеров объединиться в РКСМ. Среди восемнадцати подписавшихся был Михаил Стремяков.

— Вовка, запомни это имя — Михаил Стремяков.

КАКИМИ ОНИ БЫЛИ

Игра продолжалась. Но скоро я понял, что мои вопросы для Вовки вовсе не загадки, его же ответы сбивали меня с толку.

— Какими были первые пионеры? Как ты себе их представляешь?

— Они были плохо одеты. Многие ходили босиком.

— Расскажи лучше, чем они, по-твоему, отличались от сегодняшних ребят?

— Ничем не отличались. Такие же ребята, как и мы.

Я ожидал от Вовки иного ответа. Я просто был уверен, что на мальчишек двадцатых годов, как мне казалось, мальчишек удивительных, Вовка смотрит так же, как и я. Они испытали на себе гражданскую войну, разруху и голод, они были серьезны по своему времени и знали не по возрасту. Да и может ли оставаться ребенком тот, кто не имеет иной заботы, как о куске хлеба? Так, во всяком случае, я думал, но сын настаивал на своем:

— Ребята как ребята.

— Они пережили то, что вам не пришлось, — голод, например.

— Ну и что! И мы бы пережили.

— Нет, подожди. Давай я сперва расскажу тебе об этих ребятах.

…Фабзайцы расчищали заводские дворы от кирпича и ржавого железа, толкались в ожидании пайки хлеба. Спекулянты на «толкучке» избивали голодного воришку-беспризорника. Нэпман в лавчонке поучал мальчишку, отданного ему в услужение: «Кто хоть раз скажет покупателю „товарищ“, тот мне не служака. Покупатель любит обращение благородное: „мусью“, „вашесясь“, „барин“, „извольте попробовать-с“, „не прикажете ли“, „окромя что понадобится, мадам?“, „сыр самый свежий, не извольте сумлеваться, господин“».

Бегали по улицам папиросники, прозванные «бедуинами», кричали как оглашенные:

Спички, папиросы,
Трамвайные колеса,
Земляной вал,
Курский вокзал…

— Папа, купи мне какую-нибудь книжку, — потянул Вовка к газетному киоску.

— В другой раз.

— А мороженое купишь?

— Мороженое тебе нельзя, у тебя ухо болит.

— Врач сказал можно, только немного.

— Хорошо, на обратном пути мы зайдем в кафе.

…Осенью двадцать первого года в старые дачи под Харьковом привезли беспризорников. Думали, что ненадолго, но пришлось зимовать. Ребята назвали это место городком рабочих подростков.

Что это были за ребята? Расскажу только про одного из них. Звали его Гришка Волк. Волк не фамилия — прозвище. Когда злился, щелкал зубами и глядел всегда исподлобья, за это и получил такое прозвище. Когда-то Гришка бежал из дому: поссорился со старшим братом, хотел ножом пырнуть. Попал на шахты. Всего насмотрелся, получал пинки от шахтеров за «характер». Успел и на фронте побывать. Там у Гришки друг объявился — пулемет «максим». Если он рассказывал о чем-нибудь, так только о пулемете и рисовал его всегда.

Как-то услышал Гришка музыку. Это учительница играла. С тех пор все подле этой учительницы держался. А когда заболела учительница, стал дежурить около ее двери. Других останавливал и сам не кричал. А прежде крик был единственным выражением его чувств.

Такие ребята и собрались в городке рабочих подростков. Было их тридцать, а на всех про всех три пальто, десять пар ботинок. За продуктами каждый день в город ездили. Была у них лошаденка чуть живая. Когда с удачей возвращались, а когда и порожними.

Жили ребята коммуной, со своим самоуправлением. Оно само по себе сложилось, никто его не создавал. Всем занимались комиссии — «продком», «хозком». А еще был «страдком» — страдающая комиссия. Так мальчишки в шутку называли девочек.

Спрашивать им особенно было не у кого, всё сами решали. Окончательно и бесповоротно. Например, зашла речь о любви, и готово решение: «Каждый влюбленный — несчастнейший из смертных. Если ты когда и был влюблен, то старайся подавить в себе это чувство. Человек сильной воли не может влюбиться».

В другой раз заговорили на собрании о вреде курения и ругани. Один из ребят сделал специальное сообщение на эту тему: «Тяжелое состояние продовольствия в стране. Производя затраты на содержание городка, рабочий класс ожидает, что вырастут здоровые юноши. Члены городка неправильно расходуют этот капитал: с одной стороны, они вводят в организм продукты, а с другой — яд никотин. В отношении же ругани

скажу одно: когда работа будет полегче, тогда и ругаться перестанем».

Не знаю, право, отучились ли ребята ругаться. А вот как сложилась их судьба — известно. Кто захотел служить во флоте — уехали юнгами. Многие решили стать инженерами и поступили на рабфак Технологического института. А несколько — в Институт народного образования и в Коммунистический университет…

— Пап, а что ты еще знаешь о тех ребятах?

— Хочешь, расскажу про Колю Руденко?

— Хочу.

— В Москву Коля попал прямо с фронта. Из Конармии. Списали его оттуда, как он говорил, по малолетству. Было у Коли письмо от начальника полка, чтобы его в детский дом взяли. Но письмо ему не помогло, отказали с детским домом, мест не было. В общем, попал Руденко на Сухаревку, слышал, наверное, был такой рынок в центре Москвы. Продал шинель, за ней гимнастерку. Обмундирования ненадолго хватило, а есть каждый день хочется. Не понравилась эта жизнь Николаю. Снова пошел он в Московский отдел народного образования. «Давайте мне помещение, стану беспризорников собирать». И в этот раз отказали. Только посоветовал кто-то в Сокольники съездить: там, мол, многие дачи пустуют. А ты знаешь, что такое Сокольники в те годы?

— Знаю, там бандиты на Ленина напали и машину его захватили.

— Пустую дачу Руденко нашел на Поперечном просеке. Занял ее вместе с ребятами. А кормиться чем? Сперва конверты клеили, на это и жили. Потом научились табуреты делать. Тоже вышла коммуна.

— Здорово.

— А ты говоришь, обычные ребята.

— Конечно, нормальные ребята. Ты думаешь, пап, я бы иначе поступил?

Это уже отдавало хвастовством, и я привел последний аргумент:

— Ребята тех времен мечтали о мировой революции.

Сын внимательно посмотрел на меня и сказал:

— А разве сейчас есть где-нибудь люди, которые не мечтают о мировой революции?

Сказал назидательно и с сожалением, как говорят с человеком отсталым и темным. Интонация его меня не обидела, но и не заставила рассмеяться. В словах сына я почувствовал ту же высокую меру романтической чистоты, которая, как мне

казалось, была присуща прежде всего мальчишкам двадцатых годов. Точно такая же, пусть еще наивная, но оттого еще более непоколебимая уверенность в неизбежную и скорую победу мировой революции. Да и как может быть иначе, если только это справедливо, а если справедливо только это, естественно, и все люди хотят этого.

То, что мне казалось полетом мальчишеской фантазии, Вовке близко и понятно, близки ему и мальчишки двадцатых годов, близок и весь мир. Мир еще не познан, но уже открыт для переустройства, Вовка уже поднялся над ним, как могут поднять человека лишь прекрасные мечты и идеи.

Сказанная сыном фраза вдруг избавила меня от того, что я больше всего замечал в нем — розовощекий, умытый и причесанный стараниями домашних парень. Меня перестало гипнотизировать, что Вовка из того поколения мальчишек, для которых открывают школы по способностям — с математическим уклоном или преподаванием предметов на иностранных языках; кого зазывают в спортивные секции опытные тренеры; кто, оглушая прохожих сигналами горна, каждое лето на пестрой веренице автобусов отправляется отдыхать в лагеря. Стали второстепенными те житейские заботы старших о младших, которые занимают чаще всего — хорошо ли поел сын, вовремя ли лег спать, в порядке ли школьная форма, где проведет каникулы?

Я перенес сына во времена, когда еще сам не родился, представил его среди пионеров школы имени Радищева. Все вместе сочиняют письмо в Лондон, ответ на ноту Керзона. Быть может, Вовка и придумал эту великолепную фразу: «Мертвая петля пионерского движения все туже затягивается на шее мирового империализма». Вместе с теми ребятами он охотно бы написал сочинение на тему «Образ старого казачества в лице Тараса Бульбы и образ нового казачества в лице Семена Буденного». Он мог быть тем пионером, который на одном из первых собраний поднялся на трибуну, оглядел зал, запнулся было, а потом выпалил:

«Товарищи, я приветствую, товарищи!.. Смена смене идет, товарищи. Я заканчиваю. Да здравствует бабушка Эркапе, дедушка Коминтерн, мама Культкомиссия и братишка Комсомол. Я закончил».

МИША СТРЕМЯКОВ

На улице Воровского мы остановились у большого серого дома.

— Здесь жил первый вожатый первого пионерского отряда Миша Стремяков.

О Михаиле Стремякове мне рассказывал когда-то Иван Михайлович Михайлов, бывший директор издательства «Московская правда»:

— Худощавый, высокий и жесты у него всегда такие широкие были. Стремякова отлично помню. Как примется что-нибудь доказывать, так руками размахивает, не подходи близко. А вообще-то интеллигентный парень был, умел поговорить. Сравнения очень любил, все с кораблями и парусами сравнивал. Ребятам это, конечно, нравилось… Задумал он для своего пионерского отряда рояль достать. А где достанешь? Пошел в Консерваторию: «Дайте рояль, пионерам нужно». А тогда и слово-то «пионер» мало кто знал. Сколько ни объяснял Миша, сколько ни доказывал — выпроводили его из Консерватории: мол, у самих не хватает. Вернулся, лица на нем нет, до того, чудак, расстроился. А я в то время жил в доме-коммуне. Хозяин сбежал, меблировка осталась. Я и сказал Стремякову: пускай забирают рояль у меня из комнаты, все равно без дела стоит, только место занимает. И обрадовался же он: один готов был на себе рояль тащить…

В подслеповатом коридоре коммунальной квартиры Вовку и меня встречает высокая седая женщина — Елизавета Васильевна Стремякова. Жена Михаила. Стремякова нет в живых.

Небольшая светлая комната, его комната. Отсюда спешил он к пионерам. Здесь порой будила его по ночам, когда добегала к этим дверям, «летучая почта» первого отряда. За этим столом правил Михаил заметки пионерских корреспондентов — пикоров.

Елизавета Васильевна взгрустнула о муже. Мы рассматриваем с Вовкой фотографию Михаила Стремякова. Молодое лицо, черная шевелюра, впадины вместо щек, по-мальчишески строптивый излом губ.

Постепенно Елизавета Васильевна оживляется, начинает улыбаться, называет мужа просто Мишей.

Мальчишки дневали и ночевали в этой комнате. Стремяков отличался от них лишь возрастом. Мог с ребятами и на крышу залезть, и змей запустить. Высовывался из окна так, что вот-вот упадет, переговаривался с детворой на улице. А если свист услышит, обязательно заложит два пальца в рот и свистнет в

ответ. Когда к нему в руки попадала хорошая заметка пикора, он мог хохотать и прыгать, вот здесь, вокруг стола. Стоило Елизавете Васильевне выйти из дому, как Михаил вместе с ребятами устраивал в комнате бог знает что.

Мы шли уже к улице Горького, когда Вовка сказал:

— Если бы я все, как Миша Стремяков, делал, ты бы на меня, наверное, очень сердился…

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Это здание в московской толчее домов я разыскал еще задолго до того, как появилась на нем мемориальная доска. Дом открывается сразу, лишь свернешь с улицы Горького под уклон переулка Садовских. Серые гранитные стены, затейливые башенки, окна с зеркальными стеклами. Я слышал, как работают машины. И этот доносившийся издалека гул был для меня словно рокот истории. И этот дом, и каменная стена, опоясывающая двор, и массивные железные ворота значили больше, чем просто дом, стена и ворота — все здесь было реликвией.

«В феврале 1922 года комсомольцы Краснопресненского района г. Москвы провели в этом здании первый сбор первого пионерского отряда в Советской России» — выбиты теперь на мраморе строки.

Я волновался, когда разыскивал этот дом, волнуюсь и теперь, когда пришел сюда с сыном. Могу сколько угодно стоять около наглухо закрытых ворот и внутренне готов к тому, что когда-нибудь услышу за стеной барабанную дробь, распахнутся ворота, выйдут строем ребята и высоко в небе разольется перекличка:

— Будь готов!

— Всегда готов!

— Будь здоров!

— Всегда здоров!

— Пионеры жизни новой…

— И готовы, и здоровы!

До чего же озорная перекличка! Такая веселая, что самому охота начать маршировать.

Вовка мельком взглянул на дом. Он вовсе не собирался стоять около закрытых ворот. Хотел идти дальше. Мне стало немножко обидно.

— Раньше здесь была типография Машистова, а теперь вон видишь — типография номер шестнадцать. В этом доме Миша Стремяков и собрал ребят.

— Ему Ленин дал поручение собрать ребят?

— Нет, поручение Стремякову дал горком комсомола.

…Миша был первым начальником первого отряда и в то же время не совсем. 5 февраля 1922 года Московский комитет комсомола постановил приступить к организации первых детских групп. А через пять дней первая группа собралась на Большой Калужской улице, в детском интернате «Коммунистический интернационал». Собрал ребят комсомолец Валерьян Зорин. Когда вы читаете в газетах, что посол СССР во Франции Валерьян

Александрович Зорин нанес визит президенту республики, речь идет все о том же комсомольце. Недолго собирались ребята на Большой Калужской, распался отряд, как объяснили тогда, «в связи с трудным продовольственным положением».

В те же дни пришел на Дмитровку, в Дом Московского союза молодежи, и Миша Стремяков[7].

Комната была уставлена столами, не уставлена, а просто натыканы они повсюду — громоздкие, ободранные. Те, кто был в комнате, казались невесомыми тенями, и сам Миша почувствовал себя тенью — до того накурено. Около двери, словно часовой, стояло облезлое чучело когда-то рыжей лисицы. Лисица скалилась обломанными зубами, а на шее у нее висел плакат: «Если ты хочешь быть комсомольцем…»

Вместе с Мишей пришли сюда и другие ребята. Их встретил чернявый парень. Он встал из-за стола, но тут же снова сел, теперь на стол.

— Вы, конечно, уже знаете, товарищи, решение ЦК нашего союза о создании пробных детских коммунистических групп. О роли этих групп вы тоже кое-что знаете, хотя бы из споров по этому вопросу. Как вы знаете, комсомол организует вокруг себя детей в противовес скаутам. Цель этой организации известна: воспитывать будущее поколение в коммунистическом духе. И выходит, все-то вы знаете, товарищи…

— Вовка, попробуй представить себя на месте Миши Стремякова. Как бы ты поступил, с чего начал?

— Я бы? Я бы пошел по фабрикам и заводам. Стал собирать ребят в отряды.

— А вдруг ребята не захотят?

— Тогда я им скажу: «В футбол хотите играть?»

— А мы и без тебя мяч гоняем.

— Со скаутами надо бороться.

— А мы и так, как скаута увидим, так кричим: «Скот идет!»

— Тогда бы… тогда бы я спросил их: неужели вам не дорого дело ваших отцов, которые совершили революцию?

…Слышал как-то Стремяков, что в типографию Машистова набирали фабзайцев, туда он и решил отправиться.

Подле ворот типографии дворник нехотя рыхлил снег.

— Это типография Машистова? — спросил Миша.

Дворник огляделся по сторонам, будто сам здесь впервые оказался, а потом сказал:

— Она самая… Была типография, а теперь что? Теперь тьфу…

Но все-таки Миша решил зайти в типографию, которая, по мнению дворника, стала «тьфу». Как переступил порог, так услышал визг. Двое мальчишек катились по перилам. Они

плюхнулись друг против друга, а Миша оказался между ними. Стремяков предпочел не обращать на них внимания и обошел стороной.

Стремяков искал дверь, какая посолиднее, а когда обнаружил, открыл и вошел, держа перед собой мандат. За дверью оказался человек. Он взял мандат, прочел его раз, другой, посмотрел на свет и снова прочел.

— Чем могу быть полезен?

— Меня прислал Московский союз молодежи организовать у вас детскую группу, — изложил Миша все, что было отображено в мандате. — Мне бы заведующего разыскать, чтобы он разрешил собрать ребят.

— Я и есть заведующий, — вроде бы оживился директор.

— А как насчет помещения?

Оживление угасло. Но все-таки директор пообещал к 13 февраля найти комнату. Для верности Миша заглянул в комсомольскую ячейку. Там его заверили: во-первых, «нажмут» на директора, во-вторых, «выбьют» комнату.

Комната оказалась в подвале под машинным отделением. В окна видны лишь ноги прохожих. Пол в комнате покрыт подозрительной бурой краской, в углу одиноко стоял стол.

А ребят набралось много. Человек пятьдесят. Они толкались и галдели кто во что горазд. Но и Миша не обольщал себя надеждами. Он стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Ребята! А ну, ребята, сделайте так, чтобы минуты три было тихо.

За три минуты Миша успел пересказать все, что говорил чернявый парень, и даже от себя добавил:

— Только предупреждаю, ребята, вам надо будет отказаться от некоторых привычек.

— Каких таких?

— Бросить ругаться.

— Ого!

— Бросить курить.

— Эге!

Вот и все, что было в первый раз. Договорились встретиться назавтра, и разбежались ребята. Лишь несколько мальчишек задержались подле Стремякова.

— А паек давать будут?

— А форму дадут?

— А в футбол играть будем?

Он и сам толком не знал, что будет.

Снова собрались ребята. Миша приготовился рассказать им о положении детей в странах капитала. Сидеть было не на чем, и

разместились все на полу. Только Володька Горячев залез на подоконник. Сидел, болтал ногами и все время что-то жевал.

— Недавно мировая буржуазия закрыла печатный орган детских коммунистических групп… — сказал Миша и услышал «бац».

Володька Горячев стрелял из трубки жеваной бумагой. Миша отобрал трубку и продолжал:

— …Этим буржуазия показала, что она видит в организации детских рабочих групп грозную надвигающуюся силу…

Ребята слушали внимательно, только ерзали все время по полу. А когда Стремяков исчерпал свои познания в международном детском движении и ребята поднялись с пола, штаны у всех оказались в краске, а на полу, на тех местах, где они сидели, появились темные пятна.

— Я знал, что пол красится, — сказал Володька Горячев. — Я нарочно на окно сел. Что, взяли?

В третий раз ребят собралось заметно меньше. А те, кто и пришел, долго дожидались Стремякова. Миша тем временем бегал по типографии: не мог найти ничего подходящего, на чем бы усадить ребят. Думал, старые ящики приспособить, да ни одного не обнаружил, все пожгли. Заглянул на склад и обомлел: лежат великолепные плетеные стулья, стол к ним и даже две качалки.

В ячейке Стремякову посоветовали:

— Бери, пока хозяин не объявился.

Миша ухватил два стула и побежал к ребятам. Мебель живо перетаскали. Попрыгали на качалках и разошлись. А чего еще было делать?

Несколько дней спустя в комнату к ребятам зашел директор. Вдруг побагровел весь, стоит и на мебель смотрит:

— Вы где эту мебель подхватили?!

— Какую? — на всякий случай спросил Миша.

— Ту, на которой сидишь. Плетеную!

— Со склада, а что? — выяснял обстановку Миша.

— А то, что моя же это мебель. Мы ее с женой с дачи привезли и в склад сложили, чтобы за зиму не покоробилась.

Директор пошумел, но мебель оставил. Сидеть теперь было на чем, да некому. Все меньше приходило ребят. Голодных мальчишек не тянуло в холодную и сырую комнату, они рвались на улицу: продавать папиросы «Ява» и «Ира» было интересней.

Торчать в промозглой комнате Мише тоже не хотелось. Начал он вместе с ребятами играть во дворе и в прятки, и в казаки-разбойники, и мяч гонять. Игры эти были Мише не в тягость, играть он любил. Только вспоминал иногда про чернявого парня

из горкома комсомола, и сосало под ложечкой: а ну спросит, сколько бесед провел Стремяков, что успел за это время сделать для воспитания подрастающего поколения в коммунистическом духе. А может быть, он и не боялся вовсе этого чернявого парня, знал наверняка: не сегодня, так завтра непременно придумает этакое, что придется ребятам по душе. И, представьте себе, придумал. Нет, Америк он не открывал. Просто взялся учить ребят строевой премудрости.

Охотников до этого занятия нашлось хоть отбавляй. Оказалось, что строиться в колонну по четыре, вытягиваться шеренгой, держать равнение и маршировать (в основном на месте, потому что двор был завален хламом) очень даже интересно.

Ребята изо всех сил старались не сбиваться с ноги и по команде «Левое плечо вперед!», как это поначалу ни казалось чудно́, дружно поворачивать направо. Они торопили Мишу, уговаривали поскорей выйти за ворота, строем пройти по улицам. Ребята предвкушали сладостные минуты торжества, они не знали еще этого выражения — «публично заявить о себе», но отлично представляли, какой переполох вызовет среди мальчишек всей округи их появление. Представлял и Миша и все-таки медлил, откладывал, чего-то ждал.

Стремяков не ждал, а искал. Искал всюду, где только можно. Ему нужен был барабан. Он хотел еще большего торжества и заранее слышал гулкую и бодрую барабанную дробь, под которую так легко и точно отпечатывать шаг.

Каким был первый пионерский барабан, самый первый? Теперь не узнать, не сохранился. Говорят, что выпросил его Миша в театре. Но он был, от него пошли сотни и тысячи сегодняшних пионерских барабанов, которые могут наделать столько шума.

Стремяков принес барабан в типографию торжественно, сознавая все значение минуты. Поднял палочки и… конечно, принялся барабанить. Его оттеснили. Каждый старался ударить хоть разок, если не палочками, то кулаком. А Мише самому хотелось побарабанить всласть. И когда ребята наконец разошлись, он остался и барабанил долго, а дали бы волю, так и до утра, но попросили освободить помещение. И на следующий день Миша барабанил и, по свидетельству ребят, в игре на барабане достиг совершенства. Для его авторитета это было немаловажным.

В свой долгожданный день они еще несколько раз порепетировали во дворе. И распахнулись массивные ворота. И грохотал без устали барабан. И маршировали ребята.

Они шли по Тверской, так прежде называли улицу Горького.

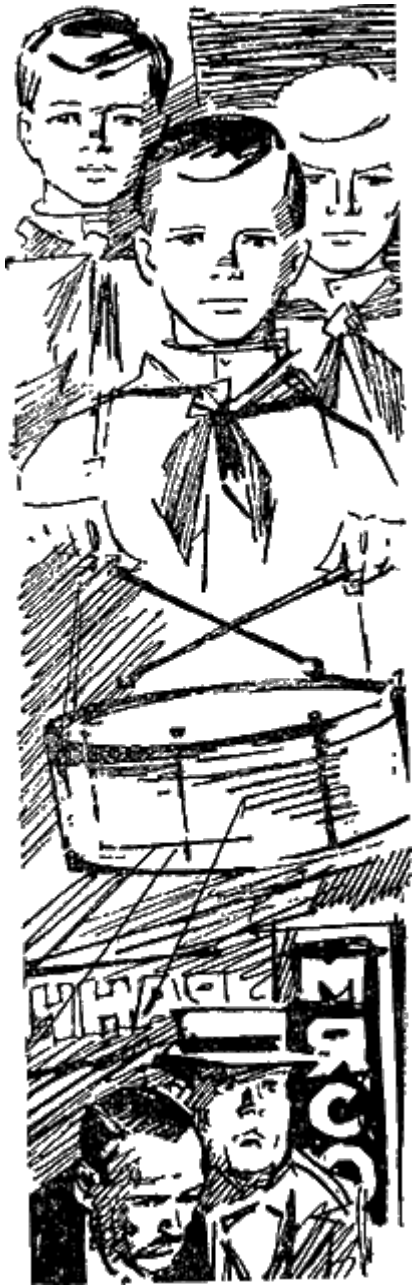
Шли строем. Держали равнение и чеканили шаг. Шли к Моссовету.

Застыли на тротуарах зеваки. Бежали вслед мальчишки. Выскочили из лавочек нэпманы. И тогда вдруг стих барабан. И тогда раздался из первой шеренги звонкий голос:

Посмотрите, как нелепо…

И весь отряд подхватил хором:

На нас смотрит рожа нэпа,
Посмотрите на него,
Каково его мурло.
В-о-о!..



Это они тоже заранее разучили.

И с тех пор, после каждого сбора, шли они под барабанную дробь по главной улице. Доходили до Моссовета, разворачивались и отправлялись обратно. Это была их первая традиция. Но она появилась. А традиции, как известно, появляются у тех, кто сумел объединиться.

ВЗГЛЯД ИЗ «ЛИРЫ»

На обратном пути, как и договорились, мы зашли в кафе «Лира». Вовке принесли мороженое «Космос», а мне — «Золотую осень».

— Не ешь холодное. Разомни или подожди, пока растает, — сказал я по привычке.

Но Вовка и не думал есть мороженое. Он даже не заинтересовался, чем отличается «Космос» от «Золотой осени». Из окна была видна улица Горького, Пушкинская площадь. Здесь когда-то маршировали ребята Стремякова. Вовка смотрел в окно. Оседали и растекались шарики мороженого.

— Первым было лучше, чем нам, — сказал Вовка. — Они боролись со скаутами. Очень здорово, когда есть с кем бороться. Сейчас, конечно, есть хулиганы. Но разве пионеры могут с ними бороться? Потом они все время чего-то делали. А мы что? Ходим в школу. Это вроде бы как наша обязанность перед взрослыми. Папа, отчего ты смеешься? Ты же сам мне все время говоришь, что я обязан хорошо учиться. Носим пионерские галстуки. Да, иногда еще собираем макулатуру. И все. Вот и все. А что нам еще делать, ну скажи что?

…Директора типографии ждали новые хлопоты. В марте к нему пришла делегация, ребята попросили верстак.

— Да зачем он вам нужен, верстак? — не соглашался директор. — Баловаться будете. Видали, вздумали скамейки делать! Мою мебель небось уже переломали. Если скамейки теперь нужны, так и скажите — изготовим.

— Мы будем делом заниматься, — сказал Боря Кудинов.

Верстак заполучили. Достали швейную машинку — девочкам занятие. Увлекались переплетным делом.

Первое правило отряда Миша изложил так: «Все делаем сами. В звеньях развиваем кустарные ремесла — чиним ботинки, паяем кастрюли. В отряде мастерские: столярная, переплетная. Каждое звено делает себе лавки и стол такого размера, чтобы на лавки можно было сесть, а за столом усесться. Каждую субботу одно из звеньев коллективно убирает клуб и передает дежурство следующему звену. Клуб, в котором не слышно бодрых звуков молотка и пилы, подобен мертвому кладбищу». Миша любил сравнения.

Звеньев в отряде было пока лишь два: звено лисиц и звено тигров. А клубом именовалась все та же комната под машинным отделением.

Но постепенно все менялось. В том числе и погода.

Наступила весна. Ребята открыли окна, и в комнату хлынула талая вода. Пришла пора прощаться с этой комнатой. Отряд переводили в Центральный клуб печатников, в то здание, где смотрят теперь спектакли московского театра «Современник».

Рабочие 16-й типографии взяли шефство над отрядом. Происходило это очень торжественно. Старый рабочий коммунист Волхонский вручил пионерам знамя. А еще прочел памятку: «Что рабочие 16-й типографии поручили выполнять пионерам». Много там было хороших наказов. Такие, например: «Помогай республике в борьбе с капиталом», «При жизненных невзгодах никогда не падай духом, смело иди вперед и вперед», «Сам найди путь к коммунизму и указывай его другим».

Отряд уже был не единственным, он назывался теперь 1-м Краснопресненским отрядом. А всего на Красной Пресне появилось более трехсот пионеров. Пора бы и встретиться всем вместе.

Выбрали 7 апреля. По церковному календарю это был день святого Георгия.[8] В этот день скауты всегда устраивали праздник. Пионеры тоже решили устроить праздник, но свой — День первого костра.

Пятьсот пионеров со всей Москвы пришли в Сокольники. Разбили палатки, пели, играли, а вечером зажгли костер. Вот как писали об этом газеты: «Громадный первобытный костер, разбрасывающий искры по темной поляне, служил для маленьких пионеров символом начала большой работы по созданию в России десятков и сотен подобных организаций, способных охватить под знаменем начинающегося детского движения тысячи мальчиков и девочек»…

Лучше бы я не говорил Вовке про все про это. Он только расстраивается. Я рассказывал ему в надежде, что услышу в ответ: «И мы у себя в отряде сделаем так же». Но Вовка воспринимает иначе. Он беспрестанно сравнивает.

— Разве у нас так? У нас так не бывает. Класс — это отряд. В нем четыре звездочки. Каждые четыре дня звездочка, на большой перемене, проводит свое мероприятие. У нас и график такой висит — кто за кем. Ну, был я командиром звездочки: посмотришь на график — скоро твоя очередь подходит. А что проводить? Опять про правила уличного движения рассказывать? Иногда какая-нибудь звездочка игру придумает. В звездочке десять человек, они только десятерых из класса и вызывают на соревнование. Остальные не участвуют, сидят и смотрят…

А вот еще. Одна звездочка решила показать, как надо за столом сидеть. Еды принесли, расставили. А за стол посадили только отличников. Только их одних…

Вовка говорил долго, и я, честно говоря, растерялся. Мне стало худо, худо потому, что еще никогда не приходилось слышать такую горечь в словах сына. Я понимал, но лишь умозрительно, что Вовке не миновать переживаний, они ждут его, но не теперь, а когда станет взрослым. А он переживал сейчас и рассуждал, как взрослый.

Как же исправить настроение сыну, как встать на пути его разочарования, переубедить? Сам затеял эту игру, а теперь не знаю, как поступить. Может быть, поспорить с ним? Сказать, что у нашей пионерии очень много интересного, несмотря на отдельные недостатки? Сказать, наконец, как важен… сбор макулатуры? Да пропади она пропадом, эта макулатура! Что за наказание такое: как только заходит разговор о делах сегодняшних пионеров, так обязательно на языке вертится эта макулатура, будто нет ничего увлекательней, как собирать ее. Лучше напомнить о красных разведчиках и походах по дорогам славы отцов.

Но не стал я напоминать сыну и о красных разведчиках. Я просто понял, что Вовка есть Вовка, а не какое-нибудь среднеарифметическое, каждая минута — это минута Вовкиной жизни, и он хочет, чтобы были заполнены не чьи-то минуты, а его. Попробуй-ка успокой его тем, что кто-то, где-то ходит в походы. Ему от этого не легче, он-то не ходит. Напомнить лишь для того, чтобы не делал обобщений, чтобы не казалось вокруг все плохо? А ему и не кажется, он если и делает обобщения, то лишь о том, что вокруг все хорошо, а у него в отряде плохо, потому и переживает.

«КТО, КАК СОНЯ, ДРЕМЛЕТ…»

И все-таки надо было что-то сказать сыну. Я неуверенно напомнил о «Пионерской правде».

— Это же твоя газета. Там пишут о том, что могут и должны делать пионеры. Ты читаешь ее?

— Читаю. Только не всегда, — признался Вовка. — Там же рассказывают о тех, у кого все хорошо. Ее взрослые для нас делают. Они узнают о чем-нибудь новом и пишут. А вот о таких, как наш отряд, где ничего нет, ничего и не пишут.

— Вовка, а если бы тебя назначили редактором «Пионерской правды»?

— Меня?

— Тебя.

— Ты все шутишь, папа.

…Выпускать первый пионерский журнал, да не какой-нибудь рукописный, а отпечатанный в типографии, решили всё те же пионеры 1-го Краснопресненского отряда. Они и назвали его «Барабан». И хоть издателем журнала намеревался быть всего лишь один отряд, задачи его мыслились грандиозными. «На зов „Барабана“ все дети рабочих соберутся и пойдут ровными рядами, разливаясь большим потоком по всему земному шару и создавая везде отряды юных пионеров. Журнал „Барабан“ будет являться громким призывом к работе и объединению». Миша Стремяков и его друзья мыслили не иначе как в масштабах планеты. А пионер Женька Крекшин даже стихи по этому поводу сочинил:

Эй! Кто, как соня, дремлет,
Не будь бездельником, встань!
Город, село и деревню
Будит наш «Барабан»…

Сегодня в Библиотеке имени В. И. Ленина получить номера журнала «Барабан» не так-то просто, чаще всего они заняты. Ученые, педагоги, писатели изучают по его страницам начало пионерского движения. Еще бы! Я не знаю другого издания, которое бы так точно передало эпоху, да еще с непосредственностью мальчишек. Очень важным документом стал этот журнал. А как появился журнал на свет, рассказывал его главный редактор Миша Стремяков. Рассказывал через год после выхода первого номера, когда редакция праздновала свой скромный юбилей.

«Редколлегия была составлена из ребят-комсомольцев, которые раньше никогда не слыхали о том, как издается подобный журнал. Журнал был настолько необходим, что нам приходилось ни перед чем не останавливаться и добиваться издания журнала… Хорошо помню 12 марта 1923 года. Осторожно вхожу в контору типографии „Красный пролетарий“ и спрашиваю:

— Где можно видеть заведующего товарища Бокова?

— Боков здесь, — слышу сзади басистый голос.

Оборачиваюсь и вижу человека среднего роста, в очках, с очень строгим лицом.

Я немного было пал духом. Рядом ребята шепчут:

— Ну вали, не подкачай!

— Я из райкома, пришел с вами поговорить об издании детского журнала…

Внимательно выслушав, заведующий спросил меня:

— А как дело обстоит с финансами?

Я не смутился и начал говорить совершенно с другого конца о необходимости организации детского журнала и необходимости поддержки его со стороны рабочих организаций.

На это он мне ответил:

— А хозрасчет, батенька, забыли?

Я было начал снова, но он меня остановил, протер очки, улыбнулся, взял меня за руку и…

— Конечно, товарищ, журнал для наших ребят нужен, давайте материал, будем работать, выпустим немного, а потом сочтемся.

6 апреля 1923 года вышел первый номер.»

Потом вышел еще один. Журнал продавался по три копейки[9], а себестоимость его была 12 копеек. Девять копеек убытка на каждом экземпляре грозили разорением. Пять месяцев ждали пионеры следующего номера. А в октябре 1923 года Московский комитет партии поручил издательству «Московский рабочий» выпускать журнал. И журнал выходил регулярно, был очень веселым, часто просто озорным, а потому любим пионерами.

В редакции ценили шутку. Ребята охотно подсмеивались над собой, иногда и над журналом:

Журнал пикорами играет,
Журнал изменчив, как судьба,
То по уездам рассылает,
То не пускает никуда.

Ребята писали в свой журнал, писали то, что думали, и представали на его страницах такими, какими были. Часто по-мальчишески категоричными:

«Ребятки! Пора бы покончить всем пионерам и пионеркам участвовать и самим устраивать танцы. Пионеры не должны заниматься флиртом и ухаживанием, а танцы служат только для этого. Если некоторые говорят, что танцы развивают ребят физически, то пусть лучше, когда им захочется танцевать (т. е. физически развиваться), сделают несколько гимнастических упражнений, и это гораздо будет полезней для нашего здоровья и целей будет обувь. Во-вторых, когда танцуют, то поднимают пыль, которую мы вдыхаем в легкие и которая, в них осаждаясь, впоследствии вызывает чахотку. Долой танцы!»

Бывали и очень грустными. На станции Ховрино умер мальчик Полик. Пионеры хоронили его. Говорили речи над могилой и написали о своем друге в журнал:

«Полик состоял в звене „Красный паровоз“. Он был преданный пионерскому делу товарищ, и звено дало ему имя „Коммунар“. В Полике-коммунаре жил здоровый пионерский дух, но у него было слабое сердце, и оно не выдержало охватившей его болезни. Мы хороним нашего юного товарища, оставившего нас на двенадцатом году своей жизни, и склоняем над ним наше пионерское знамя. Вместе с тем мы клянемся продолжать наше пионерское дело, в котором он принимал такое славное участие. Мы клянемся добиться вместе со старшими товарищами осуществления коммунистического строя, который принесет счастье детям и всем трудящимся. Тогда не будут выходить так рано из наших рядов наши боевые товарищи, как выходит товарищ Полик-коммунар».

БЫТЬ ПЕРВЫМ

Все-таки мне удалось вытянуть из Вовки, как бы поступил он, окажись редактором «Пионерской правды».

— Я бы сразу напечатал заметку. Обязательство всем учителям, ну чтобы они давали поручения ребятам.

— При чем же здесь учителя?

— Как — при чем? Они же этим заведуют.

Так и сказал — «заведуют». Мне это казалось противоестественным, а Вовка был уверен, что учителя «заведуют» общественной работой и только от них ребята должны ждать поручений. Откуда эта уверенность? Откуда? Я вспомнил, как вступал сын в пионеры. Он пришел домой довольный и гордый. Учительница отобрала из всего класса десятерых — тех, кто, по ее мнению, должен стать пионером в первую очередь. Вовка оказался среди них. Он не задумывался сам — хочет ли быть пионером, это само собой разумеется, все хотят. Его отобрали среди первых десяти. Нет, не сами ребята, а учительница — значит, она и этим заведует.

Неделю, а возможно, две сын прилежно корпел над занятиями. Учительница сказала: того, кто получит двойку, в пионеры не примут, пока не исправит. Определять для самого себя, каким должен быть пионер, не надо, поставлено условие, к тому же простейшее — не получать двоек (пока не вступишь в пионеры). Всё решили за него другие, и от других он ждет теперь поручений.

Он готов пока выполнить любое поручение, оно пока для него радость. Прежде чем лечь спать, Вовка заставлял домашних слушать длиннющую поэму. Он читал ее с выражением каждый вечер, потому что записался на конкурс лучшего чтеца. Потом он перестал декламировать. Перестал, и ладно. Только теперь я вспомнил об этом конкурсе.

— А его и не было. Учительница заболела.

Вовка вступил в пионеры, в организацию для молодых, но саму по себе уже сложившуюся, с традициями. Каждый год оставляет на стволе дерева круг за кругом. Крепкая, устоявшаяся древесина прочно прикрывает мягкую сердце-вину. Быть может, и Вовке никак не удается пробиться через круги, достичь сердцевины — там творчество, самостоятельность. То творчество, которое только и может наградить радостью и удовлетворением, чувством первого: ты делаешь то, что до тебя никто не делал.

В этом чувстве первого Вовкино поколение нуждается, пожалуй, больше, чем мальчишки моего времени. Тогда не

приходило как-то в голову отправиться на поиски истоков пионерского движения, они еще не были историей. От первых нас отделяли какие-нибудь пятнадцать лет, мы испытывали еще на себе энергию первой волны. И жизнь вокруг, весь мир были еще не такими устоявшимися, у добра и зла не было столь твердо очертанных границ. В Германии фашизм уже успел задушить все живое, но мы читали еще рассказы о борьбе немецких пионеров. Огнем революции была охвачена Испания. Даже далекая Абиссиния казалась близкой. Один из нас вымазал тогда лицо гуталином: хотел проверить, будет ли он похож на эфиопа, если удастся махнуть в Абиссинию. И даже то, что было лишь трагически перевернутой действительностью, нами, мальчишками, воспринималось романтически: в каждом странно одетом прохожем видели мы диверсанта, и каждую любопытную старушку подозревали в связях с империалистической разведкой. Без нашего вмешательства земля бы уж точно перестала крутиться.

Вовка хочет быть занятым, как сказали бы прежде — «охваченным», он тоскует о поручениях и говорит со вздохом:

— Поскорей бы уж в комсомол вступить, там хоть поручения дают.

Но не в поручениях же, конечно, суть. Мальчишка хочет приобщиться, хоть в чем-нибудь стать первым. И ему совсем не улыбается стоять подле дома, где появился первый отряд, он хочет быть в этом доме.

Вовка многое уже успел на своем веку. Создал, например, организацию в классе. О, это была очень серьезная организация, со своими шифром, эмблемой и названием — ВПС. Правда, организации скоро пришел конец, ее поглотила другая, конкурирующая. Тогда и узнал я, что значило ВПС: всегда помогай старшим. Помогать во дворе и на улице, охранять домашних животных, птиц и еще о чем-то в таком роде договорились ребята, и шифровали и конспирировали. Дальше их фантазия не пошла.

Теперь я спросил Вовку: зачем вступают ребята в пионеры?

— Чтоб хорошо учиться… Помогать взрослым… Охранять зеленые насаждения…

Ничего более вразумительного мне так и не удалось услышать от сына.

Скажи-ка в свое время Мише Стремякову, что он создал отряд лишь затем, чтобы отвлечь ребят от улицы, или, скажем, чтобы они лучше учились, — ни за что бы не согласился, спорить начал, как всегда размахивая руками. Да, надо, чтобы не болтались на улице, надо, чтобы хорошо занимались, только не задача это, а

лишь следствие. Задачи пионеров мыслились Стремякову не иначе как в мировом коммунистическом масштабе.

Уговаривая в очередной раз директора 16-й типографии, один из мальчишек сказал:

— Вы только разрешите, а мы ваш портрет повесим.

— Где же вы мой портрет повесите?

— Ясно где — в музее мировой революции. Долго ждать не придется. На людоедском острове Ява и то двести ребят объединились в детгруппы.

Это была шутка, но шутил представитель того движения, по примеру которого в десятках стран стали объединяться дети рабочих.

К первым пионерам обращалось Советское правительство: «Советская республика обращается к юным пионерам от лица беспризорной детворы за помощью. Организуйте самих детей на помощь ребенку…»

Сами пионеры обращались к ребятам Германии: «Мы, ваши друзья, юные пионеры СССР, посылаем вам свое юное пролетарское пожелание успеха в борьбе за освобождение. Мы поможем вашей революции, готовьтесь вы, а мы всегда готовы».

Босоногие ребята — это не образ, они такими и остались для истории на известной фотографии — собрались 23 мая 1924 года на Красной площади. Пионеры пришли на свой первый парад. Их приветствовали делегаты XIII съезда партии. Старый большевик Феликс Кон с трибуны Мавзолея[10] произносил слова Торжественного обещания:

— Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…

И площадь повторяла за ним.

— Буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира…

И площадь повторяла за ним.

— Будь готов! — раздалось с трибуны.

— Всегда готов! — ответила площадь.

В этом ответе — «Всегда готов» — был большой смысл и величайшая серьезность, в нем был золотой слиток времени, со всеми его трудностями, противоречиями и непроходящим оптимизмом…

Когда Вовка фантазировал о создании первого пионерского отряда, вы помните, какой аргумент он избрал решающим для ребят, которые могли не захотеть вступать в пионеры: неужели вам не дорого дело ваших отцов, которые совершили революцию? Когда же он говорит о себе, сегодняшнем пионере, то не поднимается выше стража зеленых насаждений. Но это его и

угнетает. Он тоже хочет уловить пульс мира, соединиться с его движением — движением революционного прогресса.

Вечером сын сказал:

— Слушай, папа. Мы весь день проговорили с тобой, и все без толку. Помоги мне создать организацию.

Сын не дождался ответа. Я впервые не смог ответить на его вопросы, впрочем, и он впервые так серьезно спрашивал меня. Я думал о той ответственности (не страшась ее даже про себя назвать высоким словом — гражданской) отца, учительницы, с которой каждый день встречается Вовка, школы, где учится сын и его друзья, всех взрослых перед всеми детьми — не лишать младших права первого, помочь им обрести эти права и возможности.

Ответить сыну односложно я не мог. Сказать: делай так, поступай этак — все равно что отмахнуться. А вообще-то мы очень любим советовать. Нам кажется, что все уже создано, сделано и надо лишь посоветовать, чтобы использовать то, что есть. Но советовать — еще не помогать. Помогать — это заниматься, это делать вместе, это отдавать не минуты, а часы. Мой классный руководитель Нисон Иосифович Шинкарев работал в одной школе тридцать лет. Каждый день он приезжал на час раньше звонка: помогал ученикам, которые не ладили с математикой. Всего лишь на час раньше, но тридцать лет.

СТОЙ, СТРЕЛЯТЬ БУДУ!

После всех разговоров сегодняшнего дня я думал, что сын долго не заснет. Но заснул он быстро, лежал, уткнувшись в подушку, и причмокивал губами. Потом вдруг резко повернулся и оттолкнул кого-то рукой. Наверное, ему что-то приснилось…

Гулко щелкнув, остановился на этаже лифт. От этого щелчка Вовка и проснулся. Он ждал, когда брякнет железная дверь, но было тихо; если кто и вышел из лифта, то бесшумно, словно привидение. Вовка приподнялся над подушкой и огляделся. В комнате было двое.

«Не шевелись!» — скомандовал один.

Стоял он подле окна и одет был в долгую, до пят, шинель, на голове — шлем-буденовка. Другой, в растянутой, как мешок, кофте, рыскал на полках с книгами и игрушками. Он запихивал в карманы Вовкины пистолеты и приговаривал:

«Ну буржуй, ну буржуй…»

«Ты бери, бери, что тебе надо, — сказал Вовка. — Мне не жалко».

«Буржуй, а не жадный», — удивился в кофте и раза два отчетливо щелкнул зубами.

«Испугался, потому и не жадный. А все равно буржуй», — уточнил в шинели.

«Ничего я не испугался. — Вовке и в самом деле было не страшно, а очень даже любопытно. — И не буржуй я вовсе. Пионер я».

Тот, что у окна стоял, аж подскочил:

«Слышь, не буржуй, говорит. Ты посмотри, как живет, только посмотри! Вон стол ему письменный поставили, чтоб помех в занятиях не было, и тетрадочки разложены. А мы тем временем табуретки сколачиваем».

«Ты сам за этим столом посиди да поучи. Ай эм гоинг ту зе синема. Это значит по-английски „я иду в кино“. А я в кино не иду, надо английский долбать. Лучше табуретки сколачивать».

«Брюки-то у него стрелками и тужурка новая. — В кофте отошел от полок и обшаривал Вовкину форму. — Такое только гимназисты носили. А кто такой гимназист? Ясное дело — буржуй».

«Да возьмите вы эту форму, на кой она мне сдалась. Отдайте мне шинель или гимнастерку с галифе».

«Не отдам. Раз уж на Сухаревке продал — баста. — В кофте уставился теперь на Вовкин пионерский галстук: — Галстук у него и правда красный».

«Известно, взял да перекрасил».

«А коль перекрасил, так и чикаться с ним нечего». — В кофте снова щелкнул зубами и стал вытаскивать из кармана Вовкин же пистолет.

«Погодь. Сперва проверку учинить надо… Пионер, говоришь? А кого из наших знаешь?»

«Тебя знаю. Ты Колька Руденко. А ты Гришка по прозвищу Волк. — Вовка подумал и добавил: — Еще Мишу Стремякова знаю».

«Может, ты заливаешь, а может, и не врешь. Задание готов выполнить?»

«Готов!»

«Самое что ни на есть страшное?»

«Любое. Поручите только».

«Красную площадь знаешь? Там часовня на самом въезде есть…»

«Нет там никакой часовни».

«Есть, говорят тебе: Иверской божьей матери. Каждую ночь из нее дым валит. Вот и несут старухи по Москве, будто там из-за новой власти нечистая сила объявилась. Айда проверим».

«Айда! — подскочил Вовка. — А на чем поедем? У меня билетик на метро есть».

«На машине поедем», — сказал Гришка и снял с полки автомобильчик.

«Так он же игрушечный».

«У тебя игрушечный, а у нас настоящий будет».

Они очень даже просто разместились. Быстро бежал автомобильчик, а ребята еще и подгоняли его, отталкиваясь ногами об асфальт. Пока ехали, Вовка только и думал, как бы кто не заметил, что машина у них игрушечная. Им навстречу гудели огромные «МАЗы», пролетали троллейбусы, но никто не наехал, и никто не заметил.

В проезде между Историческим музеем и кремлевской стеной неизвестно откуда взялась часовня[11]. Была она невелика собой, как положено, с крестом. И дым из нее валил. Валил насквозь, прямо через стены и крышу.

«Тут-то она и есть, нечистая сила», — зашептал Гришка.

«Нет никакой нечистой силы, — рассудил Вовка. — Сказки все это».

«Нет-то ее нет, — согласился Гришка, — только побожиться могу: один раз я все-таки видел домового».

«Ладно болтать! — прикрикнул Руденко и подтолкнул Вовку. — Пришел, так иди».

Гришка вынул два пистолета.

«Они же игрушечные».

«Сказано было, у тебя игрушечные, а у нас настоящие».

Колька с Гришкой куда-то пропали, а Вовка один оказался у двери в часовню. Он даже как-то не очень испугался. Только подумал: завтра ребята в классе нипочем не поверят. Не поверили же они, что прошлым летом Вовка ловил на донку черноморских акул-катранов. Тогда он и правда загнул немножко: не сам ловил. А теперь-то уж точно. Как подумал, так дверь и распахнулась.

Дергались красные языки пламени, горели поленья. Красные отблески носились по нечистой силе. Было ее много. Все с неумытыми рожами, перемазанные сажей. Кто с взлохмаченными головами, а кто в рваных картузах.

Так это же беспризорники греются, сообразил Вовка и крикнул:

«Стой, стрелять буду!»

Прыгал около Вовки, щелкал зубами и орал Гришка Волк:

«В детприемник их, в детприемник!»

Кричал Вовка:

«На прокормление берем! Всех на прокормление! У меня сухари есть! Мои сухари! Сам сушил!..»

Ох уж эти Вовкины сухари! Он сушит их давно и прячет повсюду. То в книжный шкаф, а то и в телевизор. Все ждет: может быть, представится случай, когда они пригодятся. А случай не представляется…

Вовка спал, а мне не хотелось. Я пользовался одним из немногих прав взрослых — ложиться, когда тебе заблагорассудится. Скоро и рассвет. С рассветом придут обязанности. Чурики сгорели.

Информация об издании

ЕГОР ЯКОВЛЕВ

ЧУРИКИ СГОРЕЛИ

Издательство

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Москва 1970

1
Я 47

Рисунки Л. Гольдберга

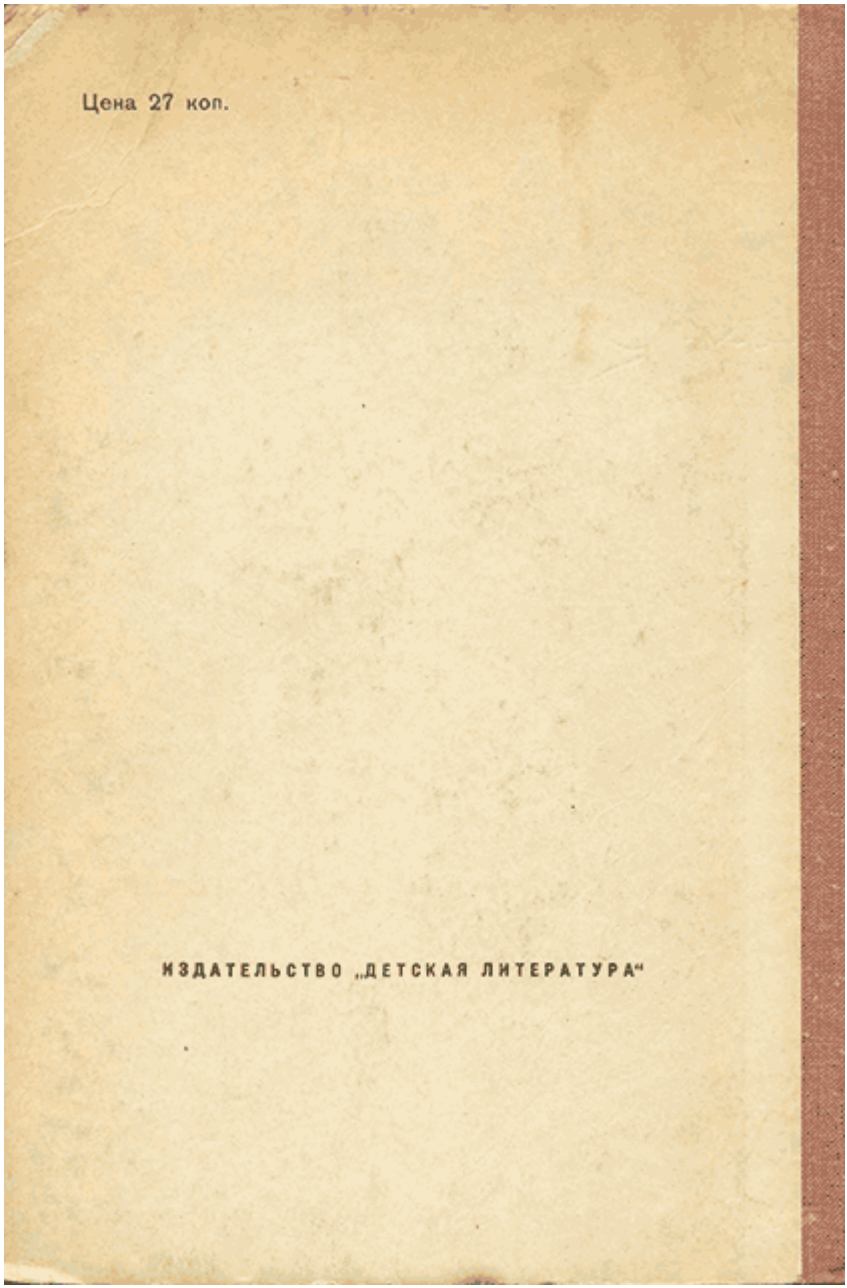
7—6—3

Для старшего возраста

Яковлев Егор Владимирович

Ответственный редактор *А. И. Моисеева.* Художественный редактор *Т. М. Токарева.* Технический редактор *О. Н. Яковлева.* Корректоры *Л. М. Короткина* и *Т. Ф. Юдичева.* Сдано в набор 6/VI 1970 г. Подписано к печати 25/IX 1970 г. Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$. Печ. л. 6. (Уч.-изд. л. 5,72). Тираж 75 000 экз. ТП 1970 № 371. А10349. Цена 27 коп. на бум. № 2.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 911.



notes

Примечания

1

«Пека» — Пётр Тимофеевич Дементьев (1913–1998) — советский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта (1946), дважды кавалер ордена «Знак Почёта» (1937, 1957). В 1936 году вышел рассказ Льва Кассиля **«Пекины бутсы»** о поездке футболиста в Турцию в составе сборной СССР осенью 1935 года. Сюжет рассказа заключается в том, что **Пеке** пришлось в Стамбуле купить новые **бутсы** взамен своих, но на несколько размеров больше; **бутсы** стали поводом для шуток и подтруниваний со стороны окружающих, но футболист, по иронии судьбы, никак не мог избавиться от обуви. — *прим. Гриня*

2

«Антоша Рыбкин» — третья часть фильма «Боевой киносборник № 3» (серии из тринадцати боевых киносборников, вышедших в годы Великой Отечественной войны), выпущенного на экраны 22 августа 1941 года. В 1942 году режиссер К. К. Юдин снял продолжение в виде фронтовой кинокомедии **«Антоша Рыбкин»**. Роль **Антона Рыбкина** исполнил Борис Чирков, получивший к тому времени известность, сыграв главную роль в трилогии о Максиме. — *прим. Гриня*

3

«Джордж из Динки-джаза» (англ. «Let George Do It!» — «Предоставьте это Джорджу») — британская чёрно-белая музыкально-эксцентрическая шпионская комедия, поставленная режиссёром Марселем Варнелем и вышедшая на экраны в 1940 году. — *прим. Гриня*

4

В советское время киностудия **«Союзмультфильм»** размещалась в здании бывшей церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе, по адресу: Долгоруковская (в 1924–1992 годах — **Каляевская**) улица, 25. — *прим. Гриня*

5

Свердловский район (Москва) — бывший район Москвы, территория которого простиралась от площади Революции в центре Москвы до железной дороги по Рижскому направлению вдоль основных улиц: Петровка, Каляевская, Новослободская. — *прим. Гриня*

6

Цуг — вид упряжки, в которой лошади идут гуськом или парами, одна за другой. — *прим. Гриня*

7

Про все это Миша потом расскажет в книжке «Пионерское начало». Он написал ее в 1926 году вместе с Л. Лариной.

8

День Святого Георгия — 6 мая (23 апреля по старому стилю). На 7 апреля приходится христианский праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. — *прим. Гриня*

9

На задней стороне обложки журнала «Барабан» № 1 за апрель 1923 года напечатано: «Цена 4 руб. (ден. зн. обр. 1923 г.).» — *прим. Гриня*

10

Первый деревянный мавзолей Ленина был закрыт 26 марта 1924 года в связи с проведением работ по долговременному бальзамированию тела вождя и постройкой здания Второго деревянного мавзолея. Строительные работы в основном были закончены к 1 мая 1924 года, но открытие состоялось только 1 августа, по окончании работ по бальзамированию. Однако, уже 1 мая 1924 года с трибуны нового мавзолея принимали первый парад. — *прим. Гриня*

11

Иверская часовня — часовня со списком Иверской иконы Божией Матери у Воскресенских ворот в Москве, ведущих на Красную площадь (разрушена в 1929 году, воссоздана в 1994–1995 годах). То есть расположена между Историческим музеем и Музеем Отечественной войны 1812 года (до революции — здание Московской городской думы; в советское время, с 1924 года — Центральный музей В. И. Ленина). — *прим. Гриня*